

И.А. ИЛЬИНЪ

**ПУТЬ
КЪ
ОЧЕВИДНОСТИ**

МЮНХЕНЪ

1957

Иванъ Александровичъ Ильинъ.

Путь къ очевидности.



A. S. Hurlbut.

И.А. ИЛЬИНЪ

**ПУТЬ
КЪ
ОЧЕВИДНОСТИ**



МЮНХЕНЪ

1957

Alle Rechte auch das der Uebersetzung vorbehalten.
Copyright by Fr. Prof. N. Iljin. Zollikon, Schweiz.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

<u>Глава</u>	<u>Страница</u>
ПРЕДИСЛОВІЕ. О НОВОМЪ ЧЕЛОВѢКѢ	1
<u>ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.</u>	
1. БЕЗСЕРДЕЧНАЯ КУЛЬТУРА	4
2. ОБРЕЧЕННЫЙ ПУТЬ	9
3. О ЧУВСТВѢ ОТВѢТСТВЕННОСТИ	14
4. О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА	22
5. СПАСЕНІЕ ВЪ ЦѢЛЬНОСТИ	30
<u>ЧАСТЬ ВТОРАЯ.</u>	
6. ХВАЛА ТРУДУ	37
7. О ТВОРЧЕСКОМЪ ЧЕЛОВѢКѢ	43
8. О СИЛѢ СУЖДЕНІЯ	49
9. О ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ СОВЕРШЕНСТВѢ	59
10. БОРЬБА ЗА АКАДЕМІЮ	70
11. О ПАСТЫРСКОМЪ ПРИЗВАНІИ	76
12. О ПРИЗВАНІИ ВРАЧА	81
13. О ПОЛИТИЧЕСКОМЪ УСПѢХѢ	89
14. ЧТО ЕСТЬ ФИЛОСОФІЯ	100
<u>ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.</u>	
15. О СВОБОДѢ	109
16. О ДОБРОТѢ	113
17. О СМирЕНІИ	118
18. ПОТЕРЯННАЯ ТАЙНА	125
19. О СЕРДЕЧНОМЪ СОЗЕРЦАНІИ	133
20. О БЛАГОДАРНОСТИ	143
21. ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИОЗНОСТЬ	148
ПОСЛѢСЛОВІЕ. О ДУХОВНОМЪ ИЗЛУЧЕНІИ	153



ПРЕДИСЛОВІЕ

О новомъ человѣкѣ.

Современный міръ идетъ навстрѣчу духовному обновленію. Многіе еще не видятъ этого: одни — потому, что не изжили своихъ старыхъ заблужденій и продолжаютъ считать ихъ «последнимъ словомъ» жизни и правды; другіе — потому, что страданія и лишенія нашей эпохи слишкомъ велики и поглощаютъ у людей всѣ ихъ силы. Есть и такіе, которые почувствовали необходимость духовнаго обновленія, но не видятъ новаго, вѣрнаго пути и не знаютъ, что начать... Но близится тотъ «день», когда духовное обновленіе начнется само собою и притомъ потому, что старые пути и направленія окажутся исчерпавшимися, разочарованіе охватитъ души и человѣческія лишенія и страданія покажутся невыносимыми...

Въ виду этого было бы важно предвидѣть, каковы же будутъ эти иные, новые пути и что намъ надо нынѣ дѣлать для того, чтобы вступить на нихъ безъ сомнѣній и колебаній. Человѣку недостойно пребывать въ безпомощности и пассивности, предаваясь своей непонятной «судьбѣ» съ покорностью младенца. Человѣкъ долженъ разумѣть свои ошибки и заблужденія, свободно судить ихъ, а не предаваться изжитому психозу, принесшему уже столько бѣдъ. Человѣкъ призванъ овладѣвать своей душой и ея слабостями, освобождать себя изъ состоянія духовной слѣпоты и творчески слагать свою новую судьбу передъ лицомъ Божиимъ. Трагическія событія исторіи, смуты и бѣдствія посылаются намъ для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самомъ жизненно-существенномъ, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободѣ и отыскиали въ самихъ себѣ нашу собственную духовную глубину, съ тѣмъ, чтобы изъ нея повести наше обновленіе, — свободно, мужественно и активно.

И прежде всего намъ надо сосредоточиться на томъ, что мы утратили. Человѣчество попыталось за послѣдніе два вѣка создать культуру безъ вѣры, безъ сердца, безъ созерцанія и безъ совѣсти; и нынѣ эта культура являетъ свое безсиліе и переживаетъ свое крушеніе.

Люди не захотѣли больше вѣровать, потому что они увѣрили себя, будто вѣра есть противоразумное, научно несостоятельное и «реакціонное» состояніе души. Люди отреклись отъ сердца, потому что имъ стало казаться, что сердце мѣшаетъ инстинкту, что оно есть разновидность «глупости» и сентиментальности, что оно подрываетъ человѣческую дѣловитость и ставитъ человѣка въ смѣшное положеніе; а «умный» человѣкъ больше всего

боится показаться смѣшнымъ; онъ желаетъ «дѣлать дѣла» и ут-
верждаться въ земной жизни. Люди отвергли созерцаніе,
потому что ихъ трезвый, прозаическій «умъ» презируетъ человѣ-
ческую «фантазію» и считаетъ, что самое важное въ жизни есть
«эмпирическое» и «прозаическое». Они вытѣснили изъ жизни
начало совѣсти, потому что ея живоносные призывы и уко-
ры совершенно не укладываются въ контекстъ хладнокровныхъ
разчетовъ и дѣловыхъ плановъ. И за всѣмъ этимъ, наряду съ
черствымъ себялюбіемъ и самомнѣніемъ, скрывался ложный
стыдъ и ложный страхъ: люди боятся остаться въ
бѣдности и неизвѣстности, они боятся прослыть ребячливыми,
несерьезными и смѣшными... Голодное самочувствіе, тщеславіе
и честолюбіе соединяются здѣсь съ робостью передъ «обществен-
нымъ мнѣніемъ»...

Этотъ ложный стыдъ будетъ преодоленъ и устраненъ вели-
кими лишеніями и страданіями нашей эпохи. Ибо страданіе есть
подлинная и могучая реальность, оно приобщаетъ человѣка бы-
тію настолько, что люди научаются быть, а не казаться, и ихъ
тщеславное желаніе «прослыть» и «прославиться» отходить на
задній планъ. Но это и значитъ, что современному человѣку
предстоитъ еще мучиться и терпѣть, и можетъ быть еще въ не-
извѣданныхъ имъ формахъ гнета и униженія, до тѣхъ поръ, пока
не отпадетъ все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырѣ-
вется наружу истокъ внутренней реальности и творческой силы.
Человѣкъ долженъ снова возжелать подлинной реаль-
ности, сущности всяческаго бытія и всякой жизни.
Тогда въ немъ оживетъ и раскроется сердце; тогда онъ свободно
и рѣшительно отдастъ сердечному созерцанію; на этомъ онъ
вновь обрѣтетъ Бога, примирится со своей совѣстью и начнетъ
создавать новую культуру, — обрѣтая новую вѣру во Христа,
слагая новую науку, созидая новое искусство, фор-
мулируя новое право и водворяя новую, отнюдь не социа-
листическую социальность...

Нельзя ни предусмотрѣть, ни предсказать, когда именно
начнется это духовное обновленіе и когда наступитъ часъ твор-
ческаго прорыва и постиженія. Отдѣльные носители и осущест-
вители его жили во всѣ вѣка и совершаютъ свое дѣло и нынѣ.
Во всякомъ случаѣ мы должны и теперь уже искать вѣрнаго діа-
гноза для современнаго духовнаго кризиса и намѣчать вѣрные
пути, ведущіе къ духовному обновленію.

Къ этому призвана особенно философія, какъ любовь
къ мудрости, какъ потребность въ божественныхъ содержаніяхъ,
какъ отвѣтственнѣйшее изслѣдованіе, какъ воля къ очевидности
въ дѣлахъ высшей и предѣльной важности. И философы нашей
эпохи поступаютъ правильно, если они забудутъ свои субъектив-
но-произвольныя «конструкціи» и всякія «гносеологическія» и
«діалектическія» комбинаціи и отдадутъ свои силы предметному
созерцанію.

Тогда они прежде всего увидятъ и укажутъ духовныя
раны современной культуры, начиная съ утраты свя-

щеннаго во всей человѣческой жизни и кончая изслѣдованіемъ тѣхъ безднъ, въ коихъ гнѣздится зло міра.

Вслѣдъ за тѣмъ имъ придется установить діагнозъ нашего культурнаго кризиса, и показать, какъ современное человѣчество переоцѣниваетъ чувственную жизнь и чувственные наслажденія, какъ оно создаетъ безсердечную культуру и погружается въ хаосъ духовнаго затмѣнія.

Обращаясь къ путямъ духовнаго обновленія, они должны будутъ заняться прежде всего вопросами воспитанія, чтобы указать его важнѣйшія, забытыя и запущенныя въ нашу эпоху заданія: надо будить духовное начало въ дѣтскомъ инстинктѣ, приучать его къ чувству отвѣтственности, укрѣплять въ людяхъ предметную силу сужденія и волю къ духовной цѣльности въ жизни.

Надо вѣрно оцѣнить то бремя земного существованія, которое мы несемъ черезъ всю жизнь, и найти естественные и справедливые способы для соціальнаго облегченія его.

Особенно важно понять и объяснить людямъ сущность творческой жизни. Это величайшая задача для поколѣній, идущихъ намъ на смѣну. Строеіе творческаго акта, создающаго культуру, должно быть постигнуто до глубины и обновлено изъ самой глубины, и притомъ — во всѣхъ областяхъ и духовныхъ призваніяхъ.

И для того, чтобы разрѣшить всѣ эти заданія, людямъ надо обезпечить себѣ доступъ къ первоначальнымъ основамъ духа и жизни. Человѣкъ будущей культуры долженъ снова возлюбить духовную свободу, предаться живой сердечной добротѣ, взрастить въ себѣ драгоцѣнное смиреніе, какъ источникъ подлинной силы, преклониться передъ тайной Божьяго мірозданія, укрѣпить въ себѣ силу сердечнаго созерцанія, научиться радости благодаренія и возстановить въ себѣ подлинную религіозность.

И то, что онъ тогда будетъ излучать въ міръ, освятитъ его личную жизнь и поведетъ его культуру по путямъ истиннаго христіанства.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Безсердечная культура.

Изъ переписки двухъ ученыхъ.

Вотъ что стояло въ его письмѣ.

«Достоуважаемый коллега!

Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете отъ современнаго человѣчества?.. Чѣмъ дальше идетъ развитіе культуры, тѣмъ напряженнѣе, тѣмъ интенсивнѣе она становится. Культура есть вообще воплощеніе интенсивности: «многое» собирается и сосредоточивается (аккумуляція) и затѣмъ дѣйствуетъ въ формахъ концентрацій (интенсивность). Это составляетъ самую сущность культуры. Именно безкультурность выражается въ разсѣяніи, въ разсродоточенности; и именно поэтому варварство есть явленіе распада, безформеннаго множества, экстенсивности, вялаго безсилія. Напротивъ, кто хочетъ творить культуру, тотъ долженъ собрать свои силы, научиться концентрации, вниманію, единенію; онъ долженъ все взвѣшивать, вкладывать въ дѣло всѣ свои силы и стойко держаться до конца. Безъ этого никакая культура невозможна. Но это и есть приговоръ для всякой наивности, непосредственности и безсознательности. Мысль и воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себѣ воображеніе и создать необходимое. При чемъ тутъ такъ называемая «жизнь чувства», или, какъ еще говорить, «сердца»? Что она можетъ дать?—Она будетъ только отвлекать, уводить, мѣшать умственной концентраціи, ослаблять волевую энергію...

Стоитъ только перебрать по очереди отдѣльныя области человѣческой культуры — и все сразу обнаружится.

Возьмемъ ли всеопредѣляющую нынѣ технику, великую основу всякаго культурнаго начинанія. Она строится на математическомъ естествознаніи и руководится соображеніями экономіи силъ, полезности и дохода. Здѣсь чувство ничего не можетъ; оно будетъ только мѣшать и должно быть устранено...

Возьмемъ ли хозяйство и въ частности дѣловую оборотъ: двѣ великія сферы реальной необходимости и цѣлесообразной организаціи; царство трезваго расчета, хладнокровнаго взвѣшиванія и предвидѣнія. Здѣсь все рѣшается вѣрной калькуляціей, конкуренціей, рекламой и быстро принятымъ рѣшеніемъ. Гдѣ здѣсь мѣсто для любви? Она только спутаетъ все, растворитъ, разложитъ и подорветъ; она поколеблетъ и остановитъ весь хозяйственно-общественный механизмъ, заставитъ чело-
вѣка надѣлать нерасчетливыхъ глупостей и разоритъ его. Чело-

вѣкъ борется съ человѣкомъ за свое существованіе, — и на этомъ держится все хозяйство. Здѣсь господствуетъ инстинктъ самосохраненія и соперничество. И кто предается чувствамъ и чувствительности, тотъ пропащій человѣкъ. . .

Посмотрите на науку — этотъ главный двигатель всей современной культуры. Здѣсь все построено на объективномъ наблюденіи и безстрастномъ анализѣ. Жизнь чувства, съ его неустойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы въ науку только туманъ и пристрастіе; и потому она должна быть здѣсь подавлена или во всякомъ случаѣ устранена. Чѣмъ меньше «симпатіи» и «антипатіи», волненія и негодованія, тѣмъ успѣшнѣе идетъ научное изслѣдованіе. Ненависть и любовь только плодятъ научныя ошибки. «Сердцу» просто нечего дѣлать въ наукѣ.

А если взять культуру, какъ политику, то тутъ уже совсѣмъ не будетъ мѣста для «сентиментальности». Въ политикѣ царитъ личный, групповой и классовый интересъ. Здѣсь идетъ умная и дерзкая борьба за власть. Здѣсь нуженъ холодный расчетъ, трезвый и зоркій учетъ силъ, дисциплина и удачная интрига; и конечно — искусная реклама. Политикъ долженъ блюсти равновѣсіе въ народной жизни и строить «параллелограммы силъ» въ свою пользу. При чемъ тутъ чувство? Сентиментальный политикъ никогда не дойдетъ до власти, а если получить ее, то не удержитъ. Здѣсь все рѣшается волей и силой; и любви здѣсь нечего дѣлать. Сентиментальность погубитъ всякій государственный строй. . .

Заговорите о любви въ современномъ искусствѣ, и на Васъ всѣ обернутся, какъ на устарѣвшаго чудака-профана. Современное искусство есть дѣло развязаннаго воображенія, технического умѣнія и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой вѣкъ; это былъ вѣкъ пастушекъ и романтиковъ. Нынѣ царитъ изобѣтающее и дерзкое искусство, съ его «красочными пятнами», звуковыми прыжками и эффектными изломами. И современный художникъ знаетъ только двѣ «эмоціи»: зависть, при неудачѣ, и самодовольство, въ случаѣ успѣха.

И вотъ отъ всей культуры остается только религія, которая нынѣ, кажется, поколеблена въ самыхъ своихъ основахъ. Но западные европейцы давно уже уяснили себѣ, что въ религіи должна господствовать воля, дисциплина и богословское доказательство. Для того, чтобы имѣть вѣру и религію, человѣкъ долженъ захотѣть вѣры и подавить свои сомнѣнія. Онъ долженъ подчинить себя церковной дисциплинѣ и погасить свои субъективные симпатіи. Самостоятельное, свободное кипѣніе чувствъ и разнузданіе личныхъ мнѣній только подрываетъ и разрушаетъ религію. Здѣсь нѣтъ мѣста ни сомнѣнію, ни произволу; и если церковь хочетъ быть сильною, то она должна устранить сердце изъ религіи.

Вотъ почему культура вообще не нуждается въ жизни чувства: послѣднее должно быть обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямо признакъ некультурности, пережитокъ варварскихъ временъ». . .

Я отвѣчалъ ему.

«Ваши опредѣленія, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они удивительно освѣщаютъ всю проблему. Именно изъ того, что Вы вскрыли, у современныхъ поколѣній западнаго человѣчества возникла нынѣшняя безсердечная культура. И всѣ мы должны постоянно думать о томъ, сможетъ ли она дальше существовать въ такомъ видѣ и какъ можно было бы спасти ее... Потому что предварительные итоги ея развитія являютъ картину сущаго крушенія, а можетъ быть и величайшей катастрофы...

Культура послѣдняго вѣка покоится на нѣкоторыхъ основныхъ предпосылкахъ, которыя рѣдко выговариваются открыто, но которыя внушаются современному «культурному человѣку» съ самаго дѣтства, какъ нѣчто само собою понятное и недопускающее никакихъ сомнѣній. Именно поэтому онъ впитываетъ ихъ въ себя какъ бы съ молокомъ матери и живетъ ими всю жизнь. Вотъ эти предпосылки.

— Сердце существуетъ только для глупыхъ людей; умные люди не считаются съ нимъ и не поддаются его нашептамъ. Совѣсть есть выдумка блаженныхъ; съ нею несутся только сентиментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дрожатъ передъ этимъ призракомъ добродѣтели. Вѣра изжита и стала пережиткомъ; она прощительна только наивнымъ и непросвѣщеннымъ людямъ; а умные и образованные люди могутъ только притворяться вѣрующими и притомъ въ силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинктъ, нужный для дѣторожденія, или же старомодная сентиментальность, лицемѣрная фраза, остатокъ первобытнаго прошлаго, которому нѣтъ мѣста въ современной культурной жизни...

Какъ сложились, какъ окрѣпли эти предпосылки современной культуры — это долгая исторія: все развитіе западно-европейскаго человѣчества даетъ отвѣтъ на этотъ вопросъ; и было бы чрезвычайно поучительно прослѣдить кристаллизацію этихъ основъ изъ столѣтія въ столѣтіе. Однажды появится русскій ученый, который выполнитъ эту работу. Подъ многовѣковымъ вліяніемъ языческаго, а потомъ католическаго Рима люди культивировали волю и мышленіе; они старались овладѣть воображеніемъ, столь неосторожно проснувшимся въ эпоху Возрожденія, и подчинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубинѣ, свободѣ и силѣ. Отъ всего чувства оставалась одна чувственность: эротика безъ любви. Только отъ времени до времени вырывались изъ земли и поднимались къ небу — совсѣмъ индивидуально и самовластно — личные «гейзеры» чувства, горячіе источники любви и совѣсти, которые при жизни не встрѣчали ни пониманія, ни сочувствія; а послѣ смерти ихъ личнаго носителя, ихъ дѣло искажалось или предавалось забвенію (таковъ былъ Францискъ Ассизскій въ Италіи, таковъ былъ Мейстеръ Экхартъ въ Германіи, таковъ былъ Томасъ Карлейль въ Англіи). Мы, конечно, отмѣтимъ и признаемъ въ современной культурѣ начало общественной благотворительности; но

при ближайшем разсмотрѣніи окажется, что въ основѣ ея лежить волевая дисциплина, соображеніе о пользѣ и умѣлая организація, — а совѣсть не любовь, не совѣсть и не чувство. Общественная благоговѣтельность на западѣ обдумана и умна; почти всегда хорошо налажена и приносит не мало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена опредѣленными социальными группами и никакъ не связана съ живою добротою... Она благотворить съ выхолощеннымъ сердцемъ.

Именно въ этомъ все дѣло: западно-европейская культура сооружена какъ бы изъ камня и льда. Здѣсь религія, искусство и наука (за немногими, гениальными исключеніями!) холодны; а политика, техника, хозяйство и дѣловой оборотъ — жестки и суровы и вмѣняютъ себѣ эту жесткость въ великую заслугу («высшій уровень культуры!»)... Любовь мѣшаетъ уму и волѣ; а культура считается именно дѣломъ воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо, несерьезно; просто — смѣшно! а стать смѣшнымъ — это самое страшное дѣло для «серьезнаго» человѣка... Культура есть дѣло строгое; а строгость формальна, холодна и жестка.

Умный англійскій философъ Хоббсъ формулировалъ однажды соціологическій законъ: «человѣкъ человѣку — волкъ» (*homo homini — lupus*). Было бы несправедливо сказать, что это и есть законъ современной культуры. Однако, «культурное приличіе» требуетъ того, чтобы люди обращали другъ на друга какъ можно меньше вниманія: не обременяли другъ друга ненужнымъ наблюденіемъ и общеніемъ. Человѣкъ человѣку — п р о х о ж і й. Или, какъ тонко подмѣтилъ Чеховъ, — человѣкъ человѣку не то запертый сундукъ, не то источникъ недоразумѣній. Люди подобны деревяннымъ шарикамъ, которые чокаются другъ о друга и отскакиваютъ въ разныя стороны. Люди другъ другу — соперники или конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжелательнаго ока и осуждающаго разговора. Они заботятся другъ о другѣ лишь въ мѣру ожидаемой отъ другого имущественной или служебной пользы, или въ мѣру своего тщеславія; или еще — въ мѣру чувственнаго влеченія. А использованнаго человѣка «списываютъ со счета» и при первомъ удобномъ случаѣ предають. И дѣлають это совершенно сознательно и довольно ловко. И зная это, для приличія — время отъ времени декламируютъ о гуманности; и расчетливо, съ навязчивой рекламой, организуютъ «гуманныя заведенія». А въ прочемъ люди, какъ деревянные шары, случайно наталкиваются другъ на друга, отскакиваютъ и катятся дальше своею случайной дорогой. Люди относятся другъ къ другу такъ, какъ если бы ихъ нормальное «рядомжителство» было подготовительной стадіей для столь же нормальнаго «взаимнаго нападенія». Но именно поэтому, какъ только дѣло доходитъ до борьбы, такъ оказывается, что «человѣкъ человѣку — волкъ»...

Поэтому эти судорожныя спазмы современной культуры, — революціи, гражданскія и международныя войны, — не случайны: онѣ суть естественныя выраженія сердечной жестко-

сти, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повседневной жесткости и безсердечной жизни. И неудивительно, что антракты между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций; и что революция стремится захватить всю вселенную. И антракты между войнами заняты изобретениями новых орудий; и «наука» уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из страны в страну. Орудия эти становятся все более разрушительными, убийственными и мучительными; и уже направляются на мирное население. И уже работают вездѣ школы взаимного выслушивания, замучивания и искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в безсердечии современной культуры.

Вотъ почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далѣе невозможно. Безсердечная культура подрываетъ сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла до вселенскаго самоубійства, а изобретение это навѣрное не составляетъ послѣдняго слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должны быть в корнѣ пересмотрѣны. Человѣчество творить свою культуру не вѣрнымъ внутреннимъ актомъ, изъ состава котораго исключены: сердце, совѣсть и вѣра, а сила созерцанія — заподозрѣна, осмѣяна и сведена къ подчиненному, почти подавленному состоянію. Такъ создаваемая культура есть больная культура; и то, что мы переживаемъ нынѣ, всѣ наши бѣдствія, страданія и тревоги, суть естественныя послѣдствія этой больной культуры».

2.

Обреченный путь.

Вся современная культура, «соціалистическая» и «несоціалистическая», потрясена въ своихъ основаніяхъ; ей грозитъ разложеніе и гибель. Это объясняется тѣмъ, что она создавалась и нынѣ попрежнему строится съ отстраненнымъ и заглохшимъ, омертвѣвшимъ сердцемъ. Ее породилъ душевный актъ не вѣрнаго строенія и это вело и нынѣ ведетъ къ самымъ тягостнымъ, извращеннымъ, трагическимъ послѣдствіямъ. Современное человѣчество, «христіанское» и противохристіанское, должно понять и убѣдиться, что это есть ложный и обреченный путь, что культура безъ сердца есть не культура, а дурная «цивилизациія», создающая гибельную технику и унижительную, мучительную жизнь.

Пренебреженіе, съ которымъ современное человѣчество относится къ «сердцу», объясняется цѣлымъ рядомъ причинъ. Въ основѣ его лежитъ невѣрное представленіе о творческомъ актѣ, который трактуется матеріально, количественно, формально и технически. Для того, чтобы жить въ качествѣ вещи среди вещей (или, что то же, въ качествѣ тѣла среди другихъ тѣлъ), человѣкъ, по видимому, не нуждается въ «сердцѣ», т.е. въ живомъ и дѣятельномъ чувствѣ любви къ Богу, къ человѣку и ко всему живому; такое существованіе можетъ явно обойтись безъ этой необходимой и важнѣйшей силы: человѣкъ можетъ отдавать свой интересъ пищѣ, питью, чувственнымъ удовольствіямъ, внѣшнимъ удобствамъ и впечатлѣніямъ, или, наконецъ, лѣченію, не вовлекая своего сердца во всѣ эти дѣла и занятія, оставаясь холоднымъ, черствымъ и самодовольнымъ «счастливецемъ». Подобно этому человѣку, понимающему творчество не качественно, а количественно, безразличному къ нравственному, религіозному, художественному и соціальному совершенству жизни, — нѣтъ особенной надобности вовлекать («инвестировать») въ свои дѣла и отношенія начало чувства и любви: обиліе имущества и денегъ, повышение фабричной продукціи и увеличеніе сбыта, умноженіе слугъ и рабовъ,—все это достигается волею, разсудкомъ, расчетомъ, мыслью, интригою, жестокостью и преступленіями гораздо легче, чѣмъ любовью, которая можетъ оказаться прямымъ препятствіемъ во всѣхъ этихъ дѣлахъ. Точно такъ же формальное отношеніе къ жизни и творчеству облегчаетъ человѣку достиженіе «успѣха» чуть ли не на всѣхъ поприщахъ: формальное трактованіе права требуетъ только мысли

и воображенія, и возможно безъ совѣсти, безъ чести, безъ патриотизма и жалости; формальное отношеніе къ религіи превращаетъ ее въ дѣло пустого обряда и памяти; формальное воспріятіе искусства уже породило современный модернизмъ во всѣхъ его видахъ, не нуждающійся ни въ сердцѣ, ни во вдохновеніи, ни въ предмето-созерцаніи; формальная политика есть дѣло власти (воли) и дисциплины, и современное тоталитарное государство есть ея прямое порожденіе; и такъ во всемъ, во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ и отношеніяхъ. Что же касается т е х н и к и, то она является сущимъ средоточіемъ матеріализма, количественности и формализма; здѣсь сердцу, повидимому, рѣшительно нечего дѣлать.

И вотъ, человѣкъ, т а к ъ понимающій и осуществляющій творческій актъ, естественно и неизбежно предается наивно-животному с в о е к о р ы с т і ю, ж а ж д ѣ о б л а д а н і я, власти и почестей и въ довершеніе усваиваетъ совершенно ложное пониманіе человѣческаго достоинства, столь характерное для современныхъ поколѣній.

Современный человѣкъ, чувствуя, что ему грозитъ бѣдность съ ея лишениями и ослѣпляясь мнимой мощью капитала, старается какъ можно больше нажить и какъ можно меньше утрудить себя. Онъ гонится за «прибылью», онъ желаетъ получать и имѣть много, но не желаетъ давать со своей стороны. Онъ хочетъ жить долго и наслаждаться много и потому старается отдѣлываться отъ своихъ занятій по возможности формально, поскорѣе и полегче управляться съ ними, не связывать себя ничѣмъ и вовлекать свои чувства въ дѣла возможно меньше. Онъ считаетъ выгоднымъ сторониться по возможности отъ всего, что могло бы обременить его: онъ склоненъ считать все «относительнымъ», «пустяками», «вздоромъ» . . . И такая установка становится для него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кромѣ того ему кажется, что такой подходъ къ жизни наиболѣе соотвѣтствуетъ его мужскому и профессиональному достоинству. «Настоящій» мужчина дѣловитъ и важенъ; онъ принимаетъ свою серьезную дѣловитость за настоящую жизненную «Предметность». Онъ не живетъ чувствомъ и не принимаетъ въ серьезъ сердечныхъ побужденій (исключеніе дѣлается только для эротическихъ увлеченій, и то не всегда). Онъ избѣгаетъ всего «субъективнаго», «личнаго»; онъ боится показаться смѣшнымъ. У него нѣтъ времени для «сентиментальностей». Онъ хочетъ «импонировать» людямъ, а для этого надо быть въ жизни независимымъ, важнымъ, чопорнымъ. Поэтому онъ старается отдѣлаться отъ «чувства» совсѣмъ. Онъ выступаетъ въ жизни, какъ человѣкъ дѣловой и холодный, и не придаетъ значенія «сердцу». Ибо онъ боится больше всего — показаться слабымъ и стать смѣшнымъ . . .

Вотъ почему люди нашей эпохи с т ы д я т с я положительныхъ и добрыхъ чувствъ и не предаются имъ. И самая благотворительность становится у нихъ дѣломъ разсчета, черстватаго ума, организаци; дѣломъ показнымъ и недобрымъ. И самые

разговоры ихъ о «гуманности» звучать фальшиво и толкуются партійно и двусмысленно. Но если человекъ не живетъ сердцемъ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что оно глохнетъ и отмираетъ и что это отмирание становится наслѣдственно-потомственнымъ. При этомъ люди не замѣчаютъ однако, что отрицательныя чувства, дурныя и злыя, (гнѣвъ, злоба, зависть, мстительность, ревность, жадность, тщеславіе, гордость, жестокость и др.) остаются и безпрепятственно расцвѣтаютъ, тѣмъ болѣе, что они повидимому проявляютъ силу человека. Они импонируютъ большинству людей, ибо обнаруживаютъ въ человекѣ энергію, волю, настойчивость и властность; они внушаютъ окружающимъ сначала опасеніе, а потомъ и страхъ, и даже незаслуженное уваженіе . . . Отсюда эта жалкая картина: Современный «культурный» человекъ стыдится своей доброты и нисколько не стыдится своей злобы и порочности.

Такъ развернулась больная культура нашихъ дней: она строилась и создавалась при безсиліи добрыхъ чувствъ, изъ заглохшаго и омертвѣвшаго сердца. И тотъ, кто присмотрится къ этому своеобразному душевному состоянію, тотъ неизбѣжно придетъ къ слѣдующимъ выводамъ.

Современный человекъ привыкъ творить свою жизнь — мыслью, волею и отчасти воображеніемъ, исключая изъ нея добрыя побужденія сердца; и привыкнувъ къ этому, онъ не замѣчаетъ, куда это ведетъ: онъ не видитъ, что создаваемая имъ культура оказывается безбожною, впадаетъ въ пошлость, вырождается и близится къ крушенію.

Мышленіе безъ сердца, — даже самое умное и изворотливое, — остается въ конечномъ счетѣ безразличнымъ: ему все равно, за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно оказывается безчувственнымъ, равнодушнымъ, релятивистическимъ (все условно! все относительно!), машинообразнымъ, холоднымъ и циничнымъ; особенно — циничнымъ, а потому характернымъ для карьеристовъ, для людей пролазливыхъ, льстивыхъ, пошлыхъ и жадныхъ. Такое мышленіе не умѣетъ въ чувствоваться въ свои предметныя содержанія; оно не созерцаетъ, оно лишено интуиціи; его главный приѣмъ — есть умственное разложеніе жизни, какъ бы умственная «вживисекція» живыхъ явленій и существъ. Поэтому оно остается аналитическимъ, оно дѣйствуетъ разлагающе и такъ охотно занимается пустыми «возможностями» и «построеніями» (конструкціями). Это дѣлаетъ его безпредметнымъ въ истинномъ и глубокомъ смыслѣ слова; но люди этого не замѣчаютъ. Отсюда возникаетъ формалистическая и схоластическая наука, — формальная юриспруденція, разлагающая психотерапія, безсодержательная эстетика, аналитическое естествознаніе, парадоксальная математика, абстрактная и мертвая филологія, пустая и безжизненная философія. Наука становится мертвымъ и ложнымъ дѣломъ, а человекъ вынашиваетъ беспочвенное, разнузданное, обманчивое міросозерцаніе . . .

Безсердечная воля, — сколь бы упорной и настойчивой она ни была въ жизни, — является въ конечномъ счетѣ лишь животной алчностью и злымъ произволеніемъ. «Свободившись» отъ любви, воля оказывается безцеремонной и безудержной, но воображаетъ о себѣ, будто она «могущественна» и «свободна». Въ дѣйствительности же она является безжалостной, напористой и жестоковойной. Успѣхъ для нея — все; мучительство и убійство для нея — дѣло простое и обычное. Это — злая энергія души. Она живетъ всецѣло въ трезвости земныхъ похотей: это есть воля къ обладанію и къ власти и расцѣпывать ее надлежитъ не какъ духовную потенцію, а какъ опасное явленіе природы. Это и есть именно та воля, для которой поставленная цѣль оправдываетъ всякое средство. Это есть воля ненасытнаго властолюбія, воля тоталитарнаго государства и «единоспасительной церкви», антисоціального капитализма, коммунистическаго деспотизма, имперіалистическихъ войнъ за колоніи; такова воля всѣхъ карьеристовъ и тирановъ.

И наконецъ — воображеніе въ отрывѣ отъ сердца, какъ бы картинно и ослѣпительно оно ни изживалось, остается въ конечномъ счетѣ безотвѣтственной игрой и пошлымъ кокетствомъ. Никогда еще оно не создавало истиннаго и великаго искусства; никогда еще ему не удавалось узрѣть глубину жизни и высоту духовнаго полета; и никакой успѣхъ у толпы, если онъ бывалъ, не доказывалъ обратнаго. Фантазія, лишенная любви, есть не что иное, какъ разнуздавшееся естественное влеченіе, неспособное творить культуру; — или же изобрѣтательный произволъ, не имѣющій никакого представленія о художественномъ совершенствѣ. Поэтому безлюбное воображеніе есть не духъ, а подмѣна духовности, ея суррогатъ. Его «игры» — то похотливы и пошлы, то конструктивны, безпредметны и пусты. Это воображеніе, которое разрѣшаетъ себѣ все, что доставляетъ ему удовольствіе, и которое готово на всякій, и даже самый гнусный заказъ, диктуемый ему хозяйственной или политической «конъюнктурой» . . . Именно оно, духовно-слѣпое, формальное и релятивистическое, породило въ исторіи искусства современный «модернизмъ», со всѣмъ его разложеніемъ, сниженіемъ и кошунствомъ . . .

Еще недавно казалось, что людямъ безсердечной лже-культуры никакъ не докажешь обреченности этого пути; они просто не хотѣли слушать нашихъ возраженій и обличеній. «Почему же этотъ путь долженъ считаться обреченнымъ, если исторія избрала именно его и осуществляетъ его? Все превосходно развивается, наука дѣлаетъ замѣчательныя открытія, техника идетъ впередъ и создаетъ невиданное, промышленность процвѣтаетъ, медицина являетъ все новыя достиженія, юриспруденція вытѣчиваетъ свою систему понятій, химія и физика производятъ міро-потрясающіе, а можетъ быть даже міро-разрушительные опыты и т. д. . . . Въ чемъ же обреченность этого пути?!» . . .

Стоя непосредственно передъ крушеніемъ, въ преддверіи близящейся міровой катастрофы, люди не хотѣли видѣть, что

это не побѣдоносное шествіе, а скольженіе въ пропасть; что формализмъ и разнузданіе суть гибельныя координаты; и что властолюбію даются въ руки такія средства, которыми оно будетъ злоупотреблять въ всеобщее униженіе и порабощеніе... И вотъ, событія послѣднихъ десятилѣтій показали, что путь этотъ есть дѣйствительно обреченный путь.

Теперь люди скоро убѣдятся въ томъ, что мнимый «прогрессъ» есть въ дѣйствительности разложеніе культуры. Событія заставятъ ихъ пересмотрѣть свои воображаемыя «достиженія» и обновить свой творческій актъ. Сердце и созерцаніе, любовь и интуиція должны быть реабилитированы и возобновлены и соответственно получать руководящую силу. Наряду съ чувственнымъ наблюденіемъ внѣшняго міра, наряду съ холодной и жесткой волей къ власти должно расцвѣсти особое сердцечное созерцаніе, свободное отъ предразсудковъ прошлаго, не компрометируемое псевдо-научной мыслью, воспринятое и осуществляемое въ культурномъ творествѣ. Это сердцечное созерцаніе переродитъ и окрылитъ чувственное наблюденіе міра; оно свяжетъ и облагородитъ холодную и жестокою волю къ власти и укажетъ ей ея высшія цѣли и задачи.

Человѣкъ долженъ научиться этому новому созерцанію, воспринимающему и природу, и человѣка, и высшіе предметы потусторонняго міра — любовію; любовь, по завѣту Евангелія, должна стать первою и основною движущею силою и создать новую культуру на землѣ. Человѣкъ долженъ понять, что привычныя для него вопросы — «а какая мнѣ отъ этого польза?» и «какъ использовать мнѣ данное положеніе вещей противъ другихъ?» — суть вопросы, достойные животнаго, а не человѣка, и что такая установка души не можетъ создать великую и жизнеспособную духовную культуру. Культурное творчество требуетъ отъ насъ предметнаго служенія, духовной преданности и жертвенности, т.е. сердца и любви. Оно требуетъ отъ насъ выбора истинной цѣли, вѣрности, въчувствованія и свободной совѣсти, т.е. опять таки любви и созерцанія. И эту творческую любовь и это творческое созерцаніе нельзя ничѣмъ замѣнить или подмѣнить: ни суровой дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитетными велѣніями, ни страхомъ наказанія. Ибо любовь имѣетъ въ виду свободно избранный и любимый предметъ; она индивидуализируетъ все отношеніе человѣка и воспитываетъ въ немъ культуру предметности; она интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она исходитъ отъ совѣсти, движется вдохновеніемъ и творитъ. Тогда какъ долгъ есть начало разсудочное и формальное, а дисциплина дѣйствуетъ силою авторитета, она не выбираетъ своего предмета и довольствуется внѣшней исполнительностью. Конечно, при отсутствіи любви — лучше долгъ, чѣмъ произволеніе и лучше дисциплина, чѣмъ разнузданіе. Но ни долгъ, ни дисциплина не могутъ замѣнить любви.

Вотъ почему культура безъ любви — есть пустое и мертвое понятіе, мнимая культура или прямое лицемеріе. И путь этотъ есть обреченный путь.

3. О чувствѣ отвѣтственности.

Человѣкъ, какъ духовное существо, всегда ищетъ лучшаго, ибо нѣкій таинственный голосъ зоветъ его къ совершенству. Онъ, можетъ быть, и не знаетъ, что это за голосъ и откуда онъ... Онъ, можетъ быть, чувствуетъ безсиліе своей мысли и своего слова каждый разъ, какъ пытается сказать, въ чемъ же состоитъ это совершенство и какіе пути ведутъ къ нему. Но голосъ этотъ внятенъ ему и властенъ надъ нимъ; и именно желаніе отозваться на этотъ призывъ и исканіе путей къ совершенству придаютъ человѣку достоинство духа, сообщаютъ его жизни духовный смыслъ и открываютъ ему возможность творить настоящую культуру на землѣ.

А человѣкъ призванъ быть на землѣ именнo духомъ, — не просто живымъ существомъ на подобіе животныхъ и насекомыхъ, и не только одушевленнымъ созданиємъ, удачно соображающимъ и желающимъ для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующимъ и нестѣсненно фантазирующимъ. Всѣ эти душевныя способности даются ему, но не для злоупотребленія ими, а для благого и отвѣтственнаго служенія. И вотъ, первое, что необходимо каждому человѣку, желающему творить культуру, это чувство своего предстоянія, своей призванности и отвѣтственности. Можно было бы сказать, что люди дѣлятся на двѣ большія категоріи: — одни — безотвѣтственно ищутъ въ жизни или своего наслажденія (это люди «поглупѣе»!) или своей пользы (это люди «поумнѣе»!), другіе же чувствуютъ себя предстоящими чему то Высшему и Священному, такъ, что даже не умѣя сказать, что это за Высшее и гдѣ обрѣтается это Священное, они не сомнѣваются въ своемъ предстояніи Ему. Міръ не есть для нихъ «вольное пастбище», данное имъ для личнаго прокормленія и устройства; онъ не есть для нихъ и случайное нагроможденіе «впечатлѣній», «явленій», удовольствій и непріятностей. Они чувствуютъ и прозрѣваютъ великій смыслъ мірового вращенія и своей собственной жизни; и не успокаиваются на томъ потокѣ «ничтожной суеты» и «мелкаго сора», (А. К. Толстой), въ которомъ тонутъ столь многіе.

Это чувство предстоянія и призванности сразу успокаиваетъ ихъ и тревожитъ: успокаиваетъ — ибо даетъ имъ ощущеніе высшей «водимости», творческой основы, жизненнаго смысла и

собственного достоинства; тревожить, — ибо вызываетъ въ нихъ живое чувство духовнаго заданія, высшей отвѣтственности и собственного несовершенства. Это возлагаетъ на нихъ обязанность не мириться со всѣмъ тѣмъ, что происходитъ въ нихъ и во внѣшнемъ мірѣ, обязанность оцѣнивать, искать вѣрныхъ мѣрилъ, выбирать, рѣшать и творить. Это зоветъ ихъ сразу къ труду, къ дисциплинѣ и къ вдохновенію.

Такое удостовѣреніе въ собственной духовности и пріятіе ея есть первооснова живой религіозности. Ибо то Высшее, чему человѣкъ предстоитъ, есть Господь, Его зовы, и Его божественныя излученія. И призваніе человѣка опредѣляется именно свыше. И духовное измѣреніе человеческой жизни и всѣхъ ея дѣлъ имѣетъ тотъ же единый источникъ. И отвѣтственность человѣка есть въ послѣднемъ измѣреніи всегда отвѣтственность передъ Богомъ.

Само собою разумѣется, что человѣкъ не всегда отчетливо сознаетъ это и рѣдко можетъ точно выговорить ощущаемое. Но это ничего по существу не мѣняетъ. Сознаніе есть не первая и не важнѣйшая ступень жизни, а вторичная, позднѣйшая и подчиненная. И закрѣпленіе въ словѣ глубокихъ и священныхъ жизненныхъ силъ дается не каждому человѣку, дается не всегда и не легко. Здѣсь важно и драгоцѣнно не умствование и не словесное описаніе, а твердое и глубоко укорененное чувство предстоянія, призванности и отвѣтственности. Духовность человѣка отнюдь не совпадаетъ съ сознаніемъ, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферою словъ и высказываній. Духовность глубже всего этого, могущественнѣе, богаче, значителнѣе и священнѣе.

Духовность человѣка состоитъ прежде всего въ увѣренности, что въ предѣлахъ его собственной души есть лучшее и худшее, на самомъ дѣлѣ лучшее; такое, качество и достоинство котораго не зависитъ отъ человѣческаго произвола; такое, которое надлежитъ признать и передъ которымъ подобаетъ преклониться. Къ этому лучшему и высшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать въ него, предаваться ему. И по мѣрѣ того, какъ человѣкъ осуществляетъ это, онъ убѣждается въ томъ, что это высшее и лучшее совсѣмъ не исчерпывается его личными предѣлами, но является въ немъ самымъ какъ бы излученіемъ и энергіей дѣйствительно Высшаго и Совершеннаго Начала, которому онъ и предстоитъ на протяженіи всей своей жизни. Приобщаясь этому Началу, духовный человѣкъ не можетъ не радоваться Ему, не можетъ не возжелать Его и не полюбить Его. И очень скоро онъ удостовѣряется въ томъ, что это радованіе естественно и цѣлительно, что это желаніе драгоцѣнно и жизненно необходимо, что эта любовь открываетъ ему настоящій доступъ къ жизненному свѣту, къ истинной свободѣ, къ подлинному бытію и личному духовному достоинству. Въ этомъ дѣланіи духовный че-

ловѣкъ научается преклоняться передъ Богомъ, чтить самого себя, видѣть и цѣнить духовность во всѣхъ людяхъ и желать творческаго раскрытія и осуществленія духовной жизни на землѣ. Это и есть сушая культура.

Все это можно было бы выразить такъ: въ основѣ подлинной духовной культуры лежить личная, и искренняя религіозность культуро-творящаго человѣка. *) Религіозность есть живая первооснова истинной культуры. Она несетъ человѣку именно тѣ дары, безъ которыхъ культура теряетъ свой смыслъ и становится просто неосуществимой: чувство предстоянія, чувство заданія и призванности, и чувство отвѣтственности.

Предстояніе Высшему есть первый даръ религіозности. Напрасно думать, что это чувство «унижаетъ» человѣка или придаетъ ему «рабскія черты». Такое мнѣніе свидѣтельствуетъ о томъ, что данному человѣку далеко до истинной свободы: онъ боится попасть въ «рабское» положеніе именно потому, что онъ все еще чувствуетъ себя самъ «недавнимъ рабомъ», или «полурабомъ», или, если угодно, «вольнымъ отпущенникомъ». Человѣкъ, нашедшій свою свободу и утвердившійся въ ней, знаетъ, что никакія условія, ни внѣшнія, ни внутреннія, не могутъ отнять у него этой свободы; ибо отъ того, что другіе люди будутъ обходиться съ нимъ, какъ съ рабомъ, его свобода не угаснетъ, а только углубится до предѣловъ внѣшней недостижимости; самъ же онъ никогда не усвоитъ рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дается», а «берется»; она берется духомъ, какъ его неотъемлемое достояніе и соблюдается имъ, какъ неотчуждаемая святыня. Но для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источникъ въ томъ Высшемъ, которому она имѣетъ счастье предстоять и отъ котораго исходить всяческая духовность и всяческая свобода. Именно это имѣлъ въ виду мудрый Томасъ Карлейль, когда писалъ: «Въ груди человѣка нѣтъ чувства болѣе благороднаго, чѣмъ это удивленіе передъ тѣмъ, что выше его»... «человѣкъ не можетъ вообще знать, если онъ не поклоняется чему либо въ той или иной формѣ»... **) Надо сказать еще больше: человѣкъ не можетъ творить культуру, не чувствуя себя предстоящимъ именно тому, что онъ долженъ осуществить въ своемъ культурномъ творествѣ. «Творящій» безъ верховнаго Начала, безъ идеала, передъ которымъ онъ преклоняется, не творитъ, а произвольноничаетъ, «балуется», тѣшитъ себя или просто безобразничаетъ, (на подобіе Пикассо и другихъ модернистовъ). Новая поколѣнія, слѣдующія за нами, должны признать, что поклоненіе Богу не унижаетъ человѣка, а впервые довершаетъ его бытіе и возвышаетъ его. Человѣкъ же, который «ничему не поклоняется», обманываетъ самъ себя, ибо на самомъ дѣлѣ онъ поклоняется себѣ самому и

*) См. въ моемъ трудѣ «Аксіомы религіознаго опыта» главы 1, 2, 5, 9, 16, 18, 19, 22, 25 и 26.

**) См. Герои и героическое въ исторіи. Стр. 37, 113.

служить своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будетъ не культурой, а безпредметнымъ посяганіемъ и произволеніемъ, лишеннымъ главнаго, не способнымъ ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное, благое и чистое, ни узрѣть и раскрыть справедливое право.

Предстоящій и з м ѣ р я е т ь с е б я именно тѣмъ, чему онъ предстоитъ. Именно это надо имѣть въ виду, читая Евангельскія слова: «Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный» (Мтѣ. 5. 48). Предстоящій Богу измѣряетъ и оцѣниваетъ себя лучами Божественности. Предстоящій совершенству судить себя высшимъ, доступнымъ человѣку критеріемъ. Предстояніе подѣмлетъ сначала в з о р ь человѣка, потомъ с е р д ц е его и в о л ю его; оно вызываетъ въ немъ новыя м ы с л и, новое пониманіе себя, другихъ людей и всей вселенной. Строеніе его души, доселѣ бывшее какъ бы одноэтажнымъ домикомъ, надстраивается и возвышается. Его око начинаетъ видѣть новыя «пространства», усваиваетъ ихъ и п р і о б щ а е т ь ихъ къ своей жизни. Или можно сказать: душа его переживаетъ нѣкое священное о к р ы л е н і е. Сердце его воспринимаетъ новыя, горніе лучи и научается радоваться имъ, ожидать ихъ и т р е п е т а т ь отъ этого ожиданія. Воля его научается выходить изъ всего чисто личнаго, мелкаго и пошлаго, и сосредоточивается на лучшемъ, на объективно-лучшемъ, на совершенномъ; она научается представлять себѣ это лучшее не только «вверху», но и «впереди»: она находитъ въ немъ жизненное заданіе для своего будущаго.

Такъ пробуждается и крѣпнеть въ человѣкѣ ж и в а я с о в ѣ с т ь. Не совѣсть, угрызающая за несовершенство въ прошломъ добра или за совершение въ прошломъ зла; но совѣсть, какъ т в о р ч е с к а я э н е р г і я, энергія любви и воли, направленная впередъ, въ будущее, къ предстоящимъ совершенніямъ. Она же и даетъ человѣку то высшее счастье на землѣ, которое выражается словами д у х о в н о е д о с т о и н с т в о и п р и з в а н і е.

Духовное достоинство состоитъ въ томъ, что «предстоящій» человѣкъ утверждаетъ свою жизнь п р і я т і е мъ Божественнаго, л ю б о в ь ю къ Нему и в ѣ р н о с т ь ю Ему. Онъ пріемлетъ Его лучи и эти лучи проникаютъ въ его душу до самаго дна. Онъ проникается ими, какъ бы питается и животворится ими, и они сообщаютъ ему свой огонь, свой свѣтъ и свое тепло. Въ нихъ онъ находитъ свое б ы т і е; такъ, что самое существо или естество его личности опредѣляется и освящается ими. Въ глубинѣ его души какъ бы строится храмъ, а въ храмѣ этомъ утверждается алтарь и престоль съ неугасающимъ свѣтильникомъ. И не въ томъ смыслѣ, чтобы этотъ храмъ, и престоль, и свѣтильникъ — были бы «доступны» ему, какъ и н о е — и н о м у, какъ извнѣ приходящему «прихожанину»: но въ томъ смыслѣ, что этотъ храмъ есть е г о с о б с т в е н н а я о б и т е л ь, и престоль этотъ есть его собственная святыня, и свѣтильникъ этотъ есть е г о с о б с т в е н н о е г о р ѣ н і е. Не только «въ немъ есть пламя», но онъ самъ въ полно-

тъ своего духовнаго бытія есть это пламя. И это пламя есть его Главное, отъ котораго онъ не можетъ отказаться, которымъ онъ дорожитъ превыше всего своего «прочаго» и которому онъ не можетъ измѣнить. И чувствуя это удостовѣренно, онъ начинаетъ постигать, что значитъ «читать самого себя» (Пушкинъ!) и что такое есть чувство собственнаго достоинства.

Вотъ гдѣ скрывается послѣдній и безусловный корень духовной отвлѣченности, безъ которой человѣку недостойно жить на землѣ и невозможно создавать духовную культуру.

Человѣкъ, какъ свободное и зрѣлое существо, отвлѣчается за свою жизнь, за ея содержанія и за ея направленіе. Это духовно-естественно и неизбежно. Духъ есть живая сила, энергія, которая чувствуетъ себя выбирающей, рѣшающей и дѣйствующей; и это самочувствіе его не иллюзія и не обманъ. Тайна свободы, — или какъ обычно говорятъ «свободы воли», — состоитъ въ томъ, что сила духа способна сосредоточиваться, укрѣплять себя, увеличивать свою силу и преодолевать свои внутреннія затрудненія и свои внѣшнія препятствія. Духъ человѣка «свободенъ» не въ томъ смыслѣ, что на него «ничто не вліяетъ», или что онъ не несетъ никакого бремени «воздѣйствія» и «причинъ»: но въ томъ смыслѣ, что ему данъ даръ самоусиленія, самоосвобожденія, который онъ долженъ принять и въ пользованіи которымъ онъ долженъ искувиться и укрѣпиться. Обычная воля человѣка есть не болѣе, чѣмъ потребность, влеченіе, страсть или упрямство. Но духовная воля человѣка есть даръ освободить себя отъ всякаго непріемлемаго и отвергаемаго воздѣйствія, какъ внутренняго, такъ и внѣшняго. Человѣческому духу присуще это живое чувство: «я могъ въ прошломъ поступать иначе», и, соотвѣтственно, «я и въ настоящемъ могу выбрать, рѣшить и осуществить свое рѣшеніе» Повторяю: это не иллюзія и не самообманъ, ибо эта мощь самоусиленія своей мощи дѣйствительно присуща человѣческому духу. Неискушенному и неопытному можетъ казаться, что онъ «не умѣетъ», или «не знаетъ», какъ начать; что онъ «слабъ» и «безпомощенъ». Но ему будетъ казаться это лишь до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ сохранять «душевную», а не «духовную» установку. Ибо душа человѣка можетъ дѣйствительно «духовно не умѣть» и чувствовать себя «духовно — слабой и безпомощной»; ей неизбежно пребывать «подъ давленіемъ обстоятельствъ» и «влеченій»; для нея естественно колебаться, откладывать, не дерзать, искать оправданій и ссылаться на «среду», которая ее «заѣдаетъ». Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Духъ есть живая энергія: ему свойственно не спрашивать о своемъ умѣніи, а осуществлять его; не ссылаться на «давленіе» влеченій и обстоятельствъ, а преодолевать ихъ живымъ дѣйствіемъ. Какъ сказалъ однажды Карлейль: «Начинай! Только этимъ ты сдѣлаешь невозможное возможнымъ».

Свобода эта состоитъ въ томъ, что не его опредѣляютъ «влеченія» и «обстоятельства», а онъ опредѣляетъ самъ себя, то расцѣпывая свои влеченія и видоизмѣняя свои обстоятельства, то извлекая изъ себя рѣшенія и свершенія, идущія наперекоръ всѣмъ обстоятельствамъ и влеченіямъ. Свободы полной, тотальной, абсолютной нѣтъ и быть не можетъ; и можно только радоваться тому, что человѣкъ лишень такихъ свойствъ и способностей. Ибо трудно себѣ даже представить, что за кошмарное созданіе представлялъ бы изъ себя человѣкъ, способный ежесекундно къ проявленію какого то метафизическаго произвола, обреченный на такія свойства какъ невоспитуемость, непредусмотримость въ рѣшеніяхъ и поступкахъ, невмѣняемость, хаотическая капризность и способность въ любой моментъ провалиться въ невиданную бездну зла. Общеніе съ такими людьми исключило бы всякое взаимное довѣріе, всякое воспитаніе, всякій правопорядокъ и всякое участіе въ прекрасномъ космосѣ и въ Царствѣ Божіемъ. Можно только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человѣку. На самомъ же дѣлѣ свобода есть сила и искусство человѣка опредѣлять себя самого и свою жизньъ къ духовности, согласно своему предстоянію, своему призванію и своей отвѣтственности.*)

Вотъ откуда у человѣческаго духа эта безсознательная, но твердая увѣренность: «я могъ иначе, но не сдѣлалъ того, что могъ»; или «я долженъ былъ совершить такой то поступокъ и могъ это сдѣлать, но не сдѣлалъ»; и соотвѣтственно: «многое въ моемъ настоящемъ и будущемъ дается мнѣ какъ готовое и неизмѣнимое, но мой личный образъ дѣйствій зависитъ отъ моего выбора и рѣшенія, а слѣдовательно отъ моего призванія и отъ моей отвѣтственности». При такомъ самочувствіи и пониманіи явленіе зовущей совѣсти и явленіе укоряющей совѣсти получаютъ свой полный смыслъ и значеніе. Призывы совѣсти безконечно расширяютъ горизонтъ человѣческихъ возможностей, утверждая въ каждомъ изъ насъ способность найти путь къ совершенству и вступить на него, возвращаться на него послѣ ошибокъ и паденій, и всегда созерцать ту даль, въ которой это совершенство насъ ожидаетъ. А укоры совѣсти освѣщаютъ намъ тѣ ошибки и паденія, которыхъ мы не сумѣли избѣжать; мало того, они какъ будто указываютъ намъ, почему именно эти ошибки и паденія состоялись, какихъ именно усилій наша свободная воля не совершила «тогда» для того, чтобы избѣжать уклоненій и неудачъ, и какія именно усилія надо осуществить «теперь», чтобы укрѣпить себя для будущаго. И смыслъ христіанскаго покаянія и исповѣди «на духу» состоитъ именно въ томъ, чтобы оживить въ душѣ человѣка чувство предстоянія, энергію совѣсти, вѣру въ свое призваніе, жажду духовной свободы и чувство отвѣтственности... Отсюда уже ясно, какое великое значеніе имѣетъ «священное недовольство» человѣческаго духа самимъ собою, а также трез-

*) См. въ моей книгѣ «Путь духовнаго обновленія» Гл. 3. «О свободѣ»; въ «Аксиомахъ религіознаго опыта» главы 2, 3 и др.

вое, честное, искреннее самоосужденіе, которымъ «заболѣваетъ» духовно выздоравливающая душа.

Итакъ, предстоящій духъ призванъ, а призванный человѣкъ отвѣтственъ; и въ основѣ всего этого лежитъ даръ къ самоосвобожденію, общенный человѣческому духу свыше.

Какъ это просто, ясно и безспорно: человѣку подобаетъ жить не состояніями, а дѣйствіями, и соотвѣтственно отвѣчать за эти дѣйствія. Духъ человѣка подобенъ не водѣ, безформенно растекающейся и безвольно плещущейся въ своемъ ложѣ. Онъ не подобенъ и песку, пассивно лежащему, пока лежитъ и пассивно осыпающемуся, «сползающему», когда потянетъ внизъ. Духъ человѣка есть личная энергія и притомъ разумная энергія; разумная не — въ смыслѣ «сознанія» или «разсудочнаго мышленія», а въ смыслѣ предметнаго созерцанія, зрячаго выбора и дѣйствія въ силу духовно-достаточнаго основанія. Такъ созерцалъ; такъ возлюбилъ; такъ выбралъ; такъ совершилъ; и потому признаю это дѣяніе моимъ дѣяніемъ, поддерживаю его основанія и мотивы и принимаю на себя отвѣтственность за совершенное, признаю свою ошибку за ошибку, свое «заранѣе обдуманное намѣреніе» признаю за таковое, — и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и послѣдствія мною совершеннаго я готовъ нести и за нихъ отвѣчать. Неспособный къ этому не можетъ считаться ни дѣятелемъ, ни человѣкомъ съ характеромъ, ни морально зрѣлою личностью, ни творцомъ культуры, ни воспитателемъ, ни врачомъ, ни священникомъ, ни солдатомъ, ни судьей, ни политикомъ, ни гражданиномъ. Онъ есть робкій обыватель, трусъ, карьеристъ или ловчила. Онъ самъ себя не довѣряетъ; а потому и ему не слѣдуетъ довѣрять. Въ старой Руси про такихъ людей говорили: «бѣгунъ и хороняка». Да и что можетъ быть болѣе жалкое, чѣмъ безотвѣтственный чиновникъ или политикъ, имѣющій полномочія, призванный дѣйствовать, обязанный рѣшать — и мечтающій объ одномъ: занести себя «на приходъ» свои жизненные успѣхи и уклониться отъ «расплаты» по закону отъ отвѣтственности?...

Отсюда уже ясно, что необходимо различать: предварительную отвѣтственность и послѣдующую отвѣтственность.

Предварительная отвѣтственность есть живое чувство предстоянія и призванности, и въ тоже время — живая воля къ совершенству. Человѣкъ еще не совершилъ дѣянія; можетъ быть и не рѣшилъ еще, что дѣлать; можетъ быть даже и не избралъ своей высшей цѣнности и не намѣтилъ своей высшей цѣли. Онъ только чувствуетъ въ себѣ активную силу и волевую энергію, онъ предвидитъ возможность и неизбежность будущихъ дѣяній — и связываетъ ихъ намѣреніемъ и внутреннимъ обязательствомъ осуществить «наилучшее наилучшее». Онъ ставитъ себя передъ Лицомъ Божіе и «предстоитъ»; онъ слышитъ призывъ къ совершенству и осмысливаетъ его какъ

«свою призванность»; онъ пріемлетъ эту призванность и какъ бы «заряжаетъ» свою душу волею къ совершенству. Еще не совершивъ, онъ уже знаетъ о своей отвѣтственности. И это чувство своей отвѣтственности — сразу дисциплинируетъ его, сосредоточиваетъ его и вдохновляетъ.

Значеніе этой предварительной отвѣтственности въ культурномъ творествѣ основополагающе и велико. Чтобы убѣдиться въ немъ, достаточно представить себѣ человѣка, который берется за какое-нибудь творческое дѣло и лишенъ предварительной отвѣтственности. — Что создастъ живописецъ, который не знаетъ ничего высшаго и священнаго надъ собою, не чувствуетъ своей призванности сказать вѣрное, зоркое и значительное, и нисколько не намѣревается создать «наилучше наилучшее»? Онъ будетъ только тѣшить свою живописную похоть, писать кое-что и кое-какъ, капризничать, демагогировать или дразнить воображаемаго зрителя, произволять и безобразничать. Не такъ же ли обстоитъ дѣло съ поэтомъ, музыкантомъ, скульпторомъ и архитекторомъ? Именно отсюда возникъ весь современный «модернизмъ» въ искусствѣ... Что познаетъ безотвѣтственный ученый, который не связалъ себя внутренне аскетической клятвой — созерцать неутомимо, исчерпывать всѣ возможные средства и пути для удостовѣренія, не шадить опытныхъ усилій, не выдавать гипотезу за истину и утверждать съ силою окончательности только достовѣрное и очевидное? Страшно и гадко думать о томъ, во что превратится у него научная культура. Чего можно ждать отъ безотвѣтственнаго судьи, не требующаго ни вѣрнаго правосознанія отъ себя самого, ни очевидности въ изученіи факта, ни прозрѣнія въ душу подсудимаго, ни точнаго знанія закона? Такой судья, не вѣдающій ни предстоянія, ни призванія, ни желанія осуществить «наилучше наилучшее» создастъ режимъ произвола, коррумпціи и кумовства. Безотвѣтственный политикъ есть интриганъ и карьеристъ, дѣятель, столь же отвратительный морально, сколь пагубный въ общественномъ отношеніи; а между тѣмъ современная государственность кишитъ такими людьми — и въ демократіяхъ, и въ тоталитарныхъ государствахъ. Кто захочетъ лѣчиться у безотвѣтственнаго врача? Кто поручитъ своихъ дѣтей безотвѣтственному воспитателю? Кто захочетъ принимать молитвы и таинства отъ безотвѣтственнаго священника? Какой полководецъ выиграетъ сраженіе, командуя безотвѣтственными офицерами, ведущими въ бой безотвѣтственныхъ солдатъ? — Люди, не вѣдающіе, что есть чувство предстоянія и призванности, и что есть воля осуществить «наилучше наилучшее», — не способны творить настоящую духовную культуру. Въ этомъ приговоръ и имъ, и создаваемой ими лже-культурѣ...

Такова сущность, таковъ смыслъ отвѣтственности, — и предварительной и послѣдующей, — въ дѣлѣ творческаго обновленія и углубленія грядущей духовной культуры. И тотъ, кто продумаетъ это, тотъ приметъ на себя обязанность изъяснить это другимъ. А русскій человѣкъ сразу пойметъ, что это всего важнѣе въ дѣлѣ возрожденія Россіи.

4.

О духовности инстинкта.

Кто желает воспитать ребенка, тотъ долженъ пробудить и укрѣпить въ немъ духовность его инстинкта. Если духъ въ глубинѣ безсознательнаго будетъ пробужденъ и если инстинктъ будетъ обрадованъ и осчастливленъ этимъ пробужденіемъ, то въ жизни ребенка совершится важнѣйшее событіе и дитя справится со всѣми затрудненіями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангелъ» будетъ бодрствовать въ его душѣ и человѣкъ никогда не станетъ «волкомъ». Но если въ дѣтствѣ это не состоится, то въ послѣдствіи всякіе уговоры, доказательства и кары могутъ оказаться безсильными, ибо инстинктъ со всѣми его влеченіями, страстями и пристрастіями не приметъ духа и не сроднится съ нимъ: онъ не будетъ узнавать и признавать его, онъ будетъ видѣть въ немъ врага и насильника, услышитъ одни запреты его и всегда будетъ готовъ возстать на него и осуществить свои желанія. Это будетъ означать, что инстинктъ утверждаетъ въ себѣ «волка»; онъ знаетъ не знаетъ «ангела» и отвѣчаетъ на его появленіе недоумѣніемъ, страхомъ и ненавистью.

Въ этомъ состоитъ секретъ воспитанія, его ж и в а я т а йна. Но именно это и упущено нашей эпохой: послѣднія поколѣнія человѣчества разучились воспитывать въ дѣтяхъ духовность инстинкта и тѣмъ открыли для нихъ гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство.

Не слѣдуетъ сводить человѣка къ его «сознанію», мышленію, разсудку или «разуму»: онъ больше всего этого. Онъ глубже своего сознанія, онъ проникательнѣе своего мышленія, могущественнѣе своего разсудка, богаче своего разума. Сущность человѣческаго существа — утонченнѣе и превосходнѣе всего этого. Его опредѣляетъ и ведетъ не мысль и не сознаніе, но любовь, даже и тогда, когда она въ припадкѣ отвращенія судорожно преобразуется въ ненависть и окаменѣваетъ въ злобѣ. Человѣкъ опредѣляется тѣмъ, что онъ любитъ и какъ онъ любитъ. Онъ есть безсознательный кладезъ своихъ воззрѣній, безмолвный источникъ своихъ словъ и поступковъ; онъ есть подземный ручей своихъ пристрастій и отреченій, своихъ мечтаній и страстей; онъ есть гармонія и дисгармонія своихъ «неодолимыхъ» влеченій. Именно поэтому сознательная мысль не проникаетъ до главныхъ и глубокихъ корней человѣческой личности; и голосъ разума такъ часто бываетъ подобенъ «гласу вопіющаго въ пустынь»; и потому образованіе не воспитываетъ

человѣка, а полуобразованность прямо раз-
вращаетъ людей.

Воспитаніе человѣка начинается съ его инстинктивныхъ корней. Оно не должно сводиться къ разглагольствованію или къ проповѣди; оно должно сообщить ребенку новыя спо-
собъ жизни. Его основная задача не въ наполненіи памяти и не въ образованіи «интеллекта», а въ зажиганіи сердца. Обогащенная память и подвижная мысль — при мертвомъ и слѣ-
помъ сердцѣ — создаетъ ловкаго, но черствата и злаго человѣка. Вотъ почему образованіе безъ воспитанія есть дѣло ложное и опасное. Оно создаетъ чаще всего людей полуобразованныхъ, самомнительныхъ и заносчивыхъ, тщеславныхъ спорщиковъ, на-
пористыхъ и беззащитныхъ карьеристовъ; оно вооружаетъ про-
тиводуховныя силы; оно развязываетъ и поощряетъ въ человѣкѣ «волка».

Кто желаетъ воспитать ребенка, тотъ долженъ пробудить и укрѣпить въ немъ духовность его инстинкта.

Но, говоря о духовности или о духѣ, не слѣдуетъ представлять себѣ какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философію. Духъ есть нѣчто, что каждый изъ насъ не разъ переживалъ въ своемъ опытѣ и что намъ всѣмъ доступно: не только одинъ переживалъ духовныя состоянія и со-
держанія съ радостнымъ наслажденіемъ, другой — съ холоднымъ безразличіемъ, третій — съ отвращеніемъ или даже со злобою. Духъ не есть ни привидѣніе, ни иллюзія. Онъ есть подлинная ре-
альность и притомъ драгоценная реальность, — самая драгоценная изъ всѣхъ. Тотъ, кто жаждетъ духа, дол-
женъ заботиться объ обогащеніи своего опыта; не о наполненіи своей памяти изъ чужихъ книгъ и не объ изощреніи своего ума умственной гимнастикой; но о разысканіи въ непосредственной жизни всего того, что придаетъ жизни высшій смыслъ, что ее освящаетъ. Одинъ найдетъ этотъ творческій смыслъ жизни въ природѣ, другой — въ искусствѣ, третій — въ глубинѣ собственного сердца, четвертый — въ религіозномъ созерцаніи. Каждый долженъ найти свою собственную дверь, ведущую въ это царство; каждый долженъ найти ее самъ, и самостоятельно переступить черезъ ея порогъ. Но это лишь пер-
вый шагъ; это только входъ, обрѣтеніе, начало; это только пер-
вый лучъ восходящаго солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этотъ шагъ былъ сдѣланъ въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, ибо — это надо всегда помнить, — всѣ послѣдующіе шаги человѣка до из-
вѣстной степени подобны его первому шагу. Первый лучъ солн-
ца долженъ озарить дѣтскую колыбель: только тогда дитя станетъ «солнечнымъ ребенкомъ», а взрослый человѣкъ понесетъ черезъ жизнь «лучезарное сердце».

Духъ живетъ повсюду, гдѣ появляется или переживается людьми — Совершенство; и даже тамъ, гдѣ человѣкъ искренно стремится къ совершенному или хотя бы къ объектив-
но-лучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянинъ былъ правъ, когда сказалъ: *«in magnis et voluisse — sat est»*. Въ великомъ и божественномъ — вѣситъ и

желаніе: сердцемъ хотѣлъ, но совершить не сумѣлъ, и зачтется благое желаніе по пасхальному слову Іоанна Златоуста.

Этотъ свѣтъ Совершенства въ жизни природы и человѣка, это влеченіе къ Божественному — составляетъ духовный смыслъ природнаго естества и человѣческой жизни; и притомъ не только въ значеніи внѣшней и далекой «цѣли», но и въ значеніи внутренней и реальной творческой причины. Совершенное можетъ быть уподоблено не только дальней, зовущей звѣздѣ, но и сокровенной органической силѣ, творчески опредѣляющей жизнь природы и человѣка. Кто увидитъ это въ духовномъ созерцаніи, тотъ скажетъ: міръ имѣетъ смыслъ, потому что ему свѣтитъ совершенство; и болѣе того: міръ имѣетъ бытіе, потому что въ немъ живетъ и его направляетъ стремленіе къ совершенству. И всюду, гдѣ мы находимъ это, мы обрѣтаемъ духовное измѣреніе вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приѣмая это, усваивая это и включая въ свою жизнь — мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Безъ духа и внѣ духа, мы не имѣемъ истиннаго бытія, а остаемся по слову Гоголя «существователями»...

Но если кто-нибудь принялъ въ себя начало духа и началъ духовную жизнь, то передъ нимъ открываются новые горизонты и онъ вступаетъ въ новый планъ бытія. Онъ убѣждается въ томъ, что духъ есть «воздухъ» и «хлѣбъ» человѣческой жизни, ибо человѣкъ задыхается и изнемогаетъ безъ него. Духъ есть дыханіе Божіе въ природѣ и въ человѣкѣ; сокровенный, внутренній свѣтъ во всѣхъ сущихъ вещахъ; — начало, во всемъ живомъ творящее, осмысливающее и очистительное. Онъ освящаетъ жизнь, чтобы она не превратилась въ мертвую, невыносимую пустыню, въ хаосъ пыли и въ вихрь злобы; но онъ же сообщаетъ всему сущему силу, необходимую для того, чтобы приобщиться духу и стать духовнымъ. А это и есть самое важное въ воспитаніи.

Человѣку отъ природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать духъ и включать его въ свою жизнь. Изъ этой способности и изъ этого тяготѣнія исходили всѣ великіе воспитатели человѣчества; на нихъ они строили, къ нимъ они взывали, ихъ старались оживить и укрѣпить. Именно ихъ имѣлъ въ виду Платонъ, истолковывая земную очевидность, какъ «припоминаніе» идей, предвѣчно созерцавшихся человѣкомъ въ мірѣ сущаго бытія.

Гдѣ-то, въ глубинѣ человѣческаго безсознательнаго, находится то «священное мѣсто», гдѣ дремлетъ первоначальное духовное естество инстинкта. Въ дѣтствѣ его сонъ нѣженъ и чутокъ; душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будетъ образовываться и нарастать на ней въ теченіе дальнѣйшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу въ хрустальной чашѣ покоится въ младенческой душѣ духъ инстинкта и какъ бы ждетъ луча благодати, чтобы взыграть свѣтомъ; или подобно ребенку

въ колыбели ожидаетъ онъ, чтобы Божіе солнце разбудило его своимъ свѣтомъ. И это должно совершиться; и это должно повторяться, чтобы духъ человѣка пробудился разъ навсегда для всежизненнаго бодрствованія и не заснулъ бы уже никогда.

Маленькій ребенокъ прозябаетъ въ непосредственной безпомощности и живетъ потребностями своего маленькаго организма, въ забвенной дремѣ инстинкта. Болѣе сильныя и глубокія впечатлѣнія извлекаютъ его изъ этого сумеречнаго состоянія, иногда толчками, и проясняютъ сначала его сознаніе, а потомъ и самосознаніе. Этого «пробужденія» не слѣдуетъ ускорять нарочно и искусственно. Но какъ только эти проблески сознанія начнутся, необходимо позаботиться о томъ, чтобы пробуждающія впечатлѣнія имѣли характеръ благостный и духовный, чтобы они исходили отъ духа и будили въ младенческой душѣ духовныя состоянія. Впослѣдствіи у ребенка будетъ много разныхъ впечатлѣній, и острыхъ, и тяжелыхъ, и болѣзненныхъ, и даже мучительныхъ: будутъ и настоящія духовныя травмы (раненія). Но первыя дѣтскія раненія не должны потрясать инстинктъ, не пробуждая его духовную глубину. Дѣтскій инстинктъ, разъ потрясенный, во всей своей безпомощности, грубымъ и жестокимъ впечатлѣніемъ, раненый въ своей слѣпотѣ, можетъ пережить неизлѣчимую или почти неисцѣлимую душевную судорогу, если у него не будетъ необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически такъ важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этихъ неизбѣжныхъ потрясеній и раненій.

И вотъ, воспитатель (мать или отецъ) имѣетъ великую и отвѣтственную задачу пробудить дѣтскую душу при первой возможности лучемъ божественной благости и красоты, любви и радости, чтобы она очнулась изъ своихъ забвенныхъ сумерекъ, отъ чувственнаго наслажденчества и пережила благостное пробужденіе. Ласковый взоръ и голосъ матери уже начинаютъ это дѣло. Въ глубинѣ инстинкта должно открыться духовное око, чтобы, трепеща отъ счастья, воспринять Божій лучъ, идущій къ нему изъ міра, и влюбиться въ его сіяніе; — чтобы душа разъ навсегда повѣрила въ благую силу мірозданія и восхотѣла новой красоты, новой радости и новой гармоніи; — чтобы она полюбила божественное и увѣровала въ Бога. Ребенка надо приобщить къ божественному счастью на землѣ — какъ можно раньше; — тогда, когда онъ еще ничего не знаетъ ни о горечи жизни, ни о злѣ міра; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы; когда онъ полонъ естественной довѣрчивости и богать первозданной чистотой.

Въ мірѣ есть чудесныя сочетанія красокъ, — естественно-гармоничныя, для вкуса безупречныя, нѣжныя и разнообразно богатыя; надо показать ихъ ребенку и радовать его ими. Въ мірѣ есть изумительныя, одухотворенныя свѣто-тѣни, плѣнившія когда-то Леонардо, венеціанцевъ и Рембрандта; надо, чтобы вѣяніе ихъ коснулось ребенка и дохнуло на него. — Есть простыя и нѣжныя

мелодій*), — ихъ такъ много въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ, колыбельныхъ, свадебныхъ и хороводныхъ, — которые ребенокъ долженъ полюбить еще въ колыбели. Мать, поюшая ихъ своему младенцу, начинаетъ его истинное воспитаніе: это духъ ея инстинкта обращается къ духовности его инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на землѣ. Какія чудесныя колыбельныя были пробуждены этимъ пѣніемъ въ младенческой душѣ и потомъ возвращены міру въ композиціяхъ великихъ музыкантовъ! Душа засыпающаго ребенка пѣла эти пѣсни вмѣстѣ съ матерью и воспринимала сквозь нихъ первозданное пѣніе ангеловъ (Лермонтовъ); и потомъ унесла ихъ въ жизнь, какъ благословеніе материнской любви. — Простой народъ вѣритъ, что бываютъ люди съ «злымъ глазомъ», которые могутъ «сглазить» ребенка, повредивъ ему душевно, духовно и тѣлесно. Въ этомъ повѣртіи кроется доля живой природной мудрости. Въ самомъ дѣлѣ, бываютъ человѣческіе глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они дѣйствительно въ состояніи психически ранить впечатлительную, довѣрчивую и ничѣмъ не защищенную дѣтскую душу. Зарядъ злобы бываетъ у такихъ людей слишкомъ великъ; внушающая сила слишкомъ дѣйствительна; младенческая душа слишкомъ обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы тѣ матери, которыя ограждаютъ своихъ дѣтей отъ такихъ противодуховныхъ, душевно ранящихъ и разлагающихъ взоровъ; ибо злоба людская на самомъ дѣлѣ гораздо болѣе распространена и могущественна, чѣмъ думали доселѣ духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если онъ началъ наблюдать внѣшній міръ и чувствовалище его открылось для новыхъ воспріятій и переживаній, то надо дать ему цѣлое богатство духовныхъ впечатлѣній. Надо направить его вниманіе на самыя красивыя и изыщныя явленія природы и на ихъ таинственную цѣлесобразность. Рано еще затруднять его «объясненіями»; достаточно, чтобы онъ замѣтилъ совершенство, скрытое и явленное въ мірѣ. Пусть залюбуется красотой бабочекъ и цвѣтовъ, ихъ нѣжными тонами, ихъ изысканною, но хрупкою формою; пусть всматривается въ величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрѣлище облаковъ; пусть вслушивается то въ рокотъ соловья, то въ ликованіе иволги, то въ ласковыя переливы жаворонка; пусть полюбитъ молчаливый гимнъ бора, трепеть осины, шелестъ березы, ропотъ дуба; пусть всмотрится въ добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить съ нею; пусть оцѣнитъ своевольный умъ коня, лукавое изыщество кошки, вѣрный взглядъ собаки и ночной кличъ пѣтуха. Пусть почувуетъ тайну природной жизни: дивную судьбу зерна, величіе грозы, красоту инея, строгость мороза и ликованіе весны. И пусть понесетъ въ сердцѣ благоговѣніе, чуткость и благодарность.

*) Напр. *Andante-Cantabile* изъ перваго квартета Чайковскаго; «Мечтающее дитя» изъ Дѣтскихъ Сценъ Шумана и др.

Ребенку долженъ какъ можно раньше почувствовать чужое страданіе и научиться чувствовать въ него, чтобы жалѣть, беречь и помогать, и идти на дѣятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкій путь къ его сердцу и научить его хотѣть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазахъ отъ русской жалуемой пѣсни; пусть онъ научится умолкать при звукахъ серьезной и глубокой музыки. Послѣ пяти — шести лѣтъ онъ долженъ услышать о герояхъ своей страны и влюбиться въ нихъ; онъ долженъ научиться «стоять» вмѣстѣ съ ними, бороться, побуждать и не искать награды. Надо, чтобы онъ научился вмѣстѣ съ Пушкинымъ благодарить Бога за то, что родился русскимъ, и вмѣстѣ съ Гоголемъ — радостно дивиться на гениальность русскаго языка. Чѣмъ раньше онъ начнетъ скромно, но увѣренно гордиться своей русскостью, тѣмъ лучше.

Ребенку необходимъ потокъ мужественной и братски-товарищеской любви отъ отца и женственно-ласковой, религіозно-совѣстной любви отъ матери. Не надо преувеличеній; но въ сердцѣ его должна навсегда расцвѣсти почтительная и нѣжная благодарность къ родителямъ, пробудившимъ его сердце и укрѣпившимъ его духовность. Онъ долженъ открыть свое сознаніе — голосу совѣсти и научиться внимать его безсловеснымъ призывамъ къ совершенству; и, что важнѣе всего, онъ долженъ нѣсколько разъ, по собственному почину отдаться этому голосу и осуществить въ жизни его требованія, чтобы познать совѣсть не только черезъ угрызенія за грѣхъ, но черезъ творческое осуществленіе ея зова.

И послѣ каждаго духовнаго пробужденія, воспріятія, потрясенія и свершенія надо говорить ему о томъ, что есть благостный Господь, знающій его и любящій его; такъ, чтобы ему самому захотѣлось молиться; и тогда научить его лучшимъ и кратчайшимъ молитвеннымъ словамъ и нѣсколько разъ помолиться при немъ и съ нимъ вмѣстѣ — огнемъ своего взрослаго сердца. Потомъ надо показать его сердцу — Христа, Сына Божія. И сердце его узнаетъ Его — само, безошибочно и навсегда.

Такъ пробуждается въ ребенкѣ его инстинктивная духовность и «ангелъ» входитъ въ сокровенную глубину его сердца. И, что особенно важно, это, чтобы эти бесѣды и воспріятія не превращались въ скучные уроки, набивающіе голову и принудительные для инстинкта; напротивъ, надо чтобы изъ каждого такого переживанія инстинктъ извлекалъ свою сущую, искреннюю радость. Инстинктъ долженъ радоваться духовному совершенству, — встрѣчать его умиленіемъ, благодарностью, любовью. Пусть «волкъ» инстинкта воззрится на духовнаго «ангела», и встрѣтится съ Его взоромъ, и узнаетъ въ Немъ свое собственное высшее и лучшее естество, и почувствуетъ къ нему довѣріе и благодарность, и привяжется къ нему любовью и вѣрностью: ибо «ангелъ» взираетъ кротко и благостно, и «волкъ» долженъ получить отъ него этой благости и кротости. Тогда они

найдутъ другъ друга и соединятся на всю жизнь. «Волкъ» предоставитъ въ распоряженіе «ангела» всю свою инстинктивную силу. Онъ будетъ нести радостно свое служеніе и глаза его не будутъ сверкать злобою. А «ангелъ» не будетъ горестно и безпомощно плакать о погибшемъ человѣкѣ.

Киплингъ рассказываетъ, что когда животныя въ Индіи ищутъ другъ у друга помощи, то они привѣтствуютъ другъ друга кличемъ «мы съ тобою одной крови»; и это заклинаніе всегда оказывается дѣйствительнымъ и отказа въ помощи не бываетъ: ибо звѣри и птицы признаютъ высшее, объединяющее ихъ кровное родство. И вотъ подрастающій ребенокъ долженъ пережить дважды соответствующее духовное сродство. Сначала — во встрѣчѣ «волка» съ «ангеломъ»: «ангелъ, я твой преданный волкъ»; «волкъ мой, а я — твое собственное духовное естество»... А потомъ — въ обращеніи къ Богу: «я есмь искра Твоя, о, священное Пламя міра»; или по-христіански: «Отче, я Твой вѣрный и благодарный сынъ». . . Тогда человѣкъ утвердитъ себя въ духовности и станетъ религіозно-цѣльнымъ.

Это и есть важнѣйшій актъ воспитанія. Ибо «воспитать» значитъ сдѣлать изъ ребенка не преуспѣвающаго человѣкоугодника, а духовно-зрячаго, сердечнаго и цѣльнаго человѣка съ крѣпкимъ характеромъ. А для этого надо зажечь и раскалить въ немъ какъ можно раньше духовный «уголь»: чуткость ко всему Божественному, волю къ совершенству, радость любви и вкусъ къ добротѣ. Это откроетъ ему путь вверхъ и дастъ ему духовную свободу. И тогда можетъ однажды настать тотъ прекрасный день, когда имъ дѣйствительно овладѣетъ сверхличное пламя духа и онъ явится людямъ, какъ Божіе орудіе, — какъ свѣтящій и призывающій факель своего народа.

Итакъ, духъ и инстинктъ совсѣмъ не противоположны другъ другу. Напротивъ: духъ есть высшее естество инстинкта, а инстинктъ есть элементарная, но органически-цѣлесообразная сила самаго духа. Раздвоеніе ихъ, а тѣмъ болѣе противоборство — болѣзненно, опасно и совсѣмъ не соответствуетъ великому замыслу Божію. Духъ человѣка совсѣмъ не призванъ къ тому, чтобы оставаться мертвою возможностью, или же отвлеченнымъ, неосуществляющимся должествованіемъ: безжизненнымъ закономъ надъ бездною грѣха. Духъ человѣка призванъ къ живому творчеству; онъ долженъ будить, побуждать и вести человѣческій инстинктъ, въ томъ смыслѣ, какъ выразился однажды римскій ораторъ Квинтиліанъ: «*instinctus divino spiritu*» («побуждаемый божественнымъ Духомъ». . .*)

Инстинктъ же не долженъ предаваться своимъ разнузданнымъ влеченіямъ. Онъ призванъ нести бремя міра и служить осуществленію божественной ткани въ предѣлахъ мірозданія. Онъ долженъ принять эту задачу свободно и творить съ радостнымъ усердіемъ

*) Слово «инстинктъ» происходитъ отъ латинскаго глагола «*instinguere*», что значитъ «побуждать», «возбуждать», «двигать».

емъ. Ибо человѣческій духъ есть духъ инстинкта; а
человѣческій инстинктъ есть инстинктъ духа.

И, можетъ быть, близится счастливое время, когда люди
поймутъ этотъ законъ, примутъ эту истину и пойдутъ по это-
му пути. Отъ этого зависеть все будущее нашей культуры.

5. Спасеніе въ цѣльности.

Человѣкъ, находящійся въ состояніи внутренняго раскола есть несчастный человѣкъ. Онъ остается несчастнымъ и тогда, если ему въ жизни везетъ, если ему все удастся и каждое желаніе его исполняется. То, что ему удастся, не радуется его и не даетъ ему удовлетворенія, ибо одна часть его существа не участвуетъ въ этомъ удовлетвореніи. Исполненіе его желаній тоже не даетъ ему радости, потому, что онъ и въ самомъ желаніи своемъ остается расколотымъ и не способнымъ къ цѣльной радости. Никакое внѣшнее счастье не дѣлаетъ его счастливымъ, потому, что онъ внутренне несчастливъ отъ своего распада. Ни какой жизненный успѣхъ не даруетъ ему ни наслажденія, ни успокоенія. У него не хватаетъ внутренняго органа для того, чтобы быть счастливымъ. Этотъ внутренній органъ называется гармоніей, согласованной тотальностью (т. е. цѣлокупностью) влеченій и способностей, единеніемъ инстинкта и духа, согласіемъ между вѣрой и знаніемъ.

Человѣкъ, несущій въ себѣ внутреннее расщепленіе, не знаетъ счастья. Его ждетъ вѣчное разочарованіе и томленіе. Онъ обреченъ на вѣчную и притомъ безнадежную погоню за новыми удовольствіями; и вездѣ ему предстоитъ неудовлетворенность и дурное расположеніе духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, онъ все время ищетъ новаго, неиспытаннаго, но пріятнаго раздраженія, и всякое «общаніе» обманываетъ его. Онъ начинаетъ измышлять неслыханныя возможности; онъ утрачиваетъ вкусъ, искажаетъ искусство, извращаетъ чувственную любовь; и вотъ онъ уже готовъ воззвать ко всѣмъ безднамъ зла, перерыть всѣ углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себѣ новое наслажденіе или по крайней мѣрѣ раздраженіе и испробовать какую то небывалую утѣху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помѣшать; онъ долженъ выпить до дна чашу своей немощи и своихъ заблужденій, что нынѣ и происходитъ въ мірѣ... Въ томъ видѣ, который ему внутренне присущъ, онъ не найдетъ разрѣшенія, цѣльной и упокаивающей радости; и никогда не постигнетъ, что такое блаженство. Тотъ, кто обреченъ на частичное самовложеніе въ жизнь, тотъ проживетъ на землѣ въ сумеркахъ унынія: его не обрадуетъ никакая радость и солнце не дастъ ему своихъ лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вѣчное недовольство, какъ знакъ болѣе утонченной и благородной натуры, ко-

торая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецѣльность совѣсть не есть какое-то «высшее достиженіе», передъ которымъ надо только преклоняться и которому надо подражать; напротивъ, это есть б о л ѣ з н ь д у х а, которую необходимо преодолѣть, отъ которой надо и с ц ѣ л и т ь с я. Хотя психологически нетрудно понять, что такіе расщепленные, и въ сущности духовно больные, люди любятъ воображать и изображать себя, какъ нѣкихъ «сверхъ-человѣковъ»... Намъ нисколько не импонируетъ, когда герои лорда Байрона выступаютъ съ такимъ сувереннымъ самочувствіемъ, какъ если бы ихъ меланхолія или ипохондрія превращала ихъ въ какихъ то «полубоговъ». Напрасно было бы преклоняться передъ Фаустомъ, какъ передъ сверхъ-человѣкомъ только потому, что Гете сообщаетъ о «живущихъ въ его груди двухъ душахъ, желающихъ оторваться одна отъ другой», и потому, что онъ рѣшаетъ подчиниться дьяволу, обѣщающему засыпать его земными наслажденіями. Люди восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣка имѣли мужество осознать и громко выговорить унаслѣдованный ими душевно-духовный расколъ. Но это мужество внушило имъ самоувѣренность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и въ результатѣ внутренний расколъ выдавался и принимался за нѣкое высшее достиженіе, за признакъ сверхъ-человѣка и новой эпохи. Разногласіе между вѣрою и разсудкомъ существовало въ Европѣ уже давно. Но въ дальнѣйшемъ постепенно сложилась апологія разложенія и распада, неприкрытое возстаніе противъ Бога и всего Божественнаго, систематическое опустошеніе жизни отъ всякой святости и категорическій разрывъ съ Христіанствомъ. Въ концѣ концовъ этотъ разрывъ съ христіанствомъ былъ выраженъ у Ницше тономъ откровенной ненависти и вызывающаго упоенія и нашель себѣ практическое осуществленіе и завершеніе въ событіяхъ послѣднихъ десятилѣтій (1917 — 1953).

Человѣкъ, душевно расколотый и нецѣльный, есть несчастный человѣкъ. Если онъ воспринимаетъ истину, то онъ не можетъ рѣшить, истина это или нѣтъ, ибо онъ не способенъ къ цѣлостной очевидности. Если истина вступила въ его сознаніе, то его чувство молчитъ и не отзывается на нее, и онъ отвертывается отъ нея, объявляя ее «неочевиднымъ содержаніемъ сознанія», каковыхъ въ жизни имѣется многое множество. Про него можно сказать, что онъ не умѣетъ владѣть своимъ достояніемъ и не способенъ принять приобрѣтенное имъ богатство. Увидѣвъ Свѣтъ, онъ знаетъ, что это «свѣтъ», но онъ не созерцаетъ радостную свѣтлость этого свѣта и остается къ нему безразличнымъ. Такъ онъ теряетъ вѣру въ то, что человѣку вообще можетъ быть дана тотальная очевидность. Онъ не желаетъ признать ее и у другихъ и встрѣчаетъ ее ироніей и насмѣшкой; и чтобы закрѣпить эту иронію онъ выдвигаетъ доктрину, согласно которой человѣкъ вообще не

способенъ къ достовѣрному знанію (агностицизмъ) и обреченъ на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать «релятивно» (релятивизмъ). Отсюда возникаетъ систематически воспитываемое и поддерживаемое мало кровіе познанія, принципиальное «ни-да—ни-нѣтъ», т.е. бѣгство отъ очевидности. Вотъ почему расколотый и нецѣльный человѣкъ оказывается духовно-обезсиленнымъ человѣкомъ. Онъ не способенъ имѣть убѣжденія. Въ вопросахъ, требующихъ исповѣданія, онъ немощенъ и безпомощенъ. Передъ лицомъ истины онъ расслабленный человѣкъ.

И такимъ онъ является во всѣхъ областяхъ духовной культуры. Такъ напримѣръ, проблему добра и зла онъ подмѣняетъ вопросомъ объ относительно-полезномъ и сравнительно-вредномъ (утилитаризмъ) и рѣшаетъ этотъ вопросъ въ зависимости отъ случайныхъ, разсудочныхъ соображеній. А въ глубинахъ души онъ считаетъ, что «умные люди» вообще не занимаются этимъ пустымъ и компрометирующимъ вопросомъ — о злѣ и добрѣ.

Если ему приходится говорить объ отечествѣ и патриотизмѣ, о правовой свободѣ, о справедливости, то онъ и здѣсь становится на «умную» точку зрѣнія релятивизма, и притомъ потому, что его патриотизмъ и его правосознаніе настолько же расколоты, нецѣльны, неискренны и ослаблены, какъ и его очевидность.

Религіи онъ вообще не имѣетъ и религіозность его мертва, потому что вѣра требуетъ отъ человѣка цѣлостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что онъ можетъ найти въ себѣ для религіи это «вѣжливое невмѣшательство въ чужія воззрѣнія», но за этой «вѣжливостью» на самомъ дѣлѣ скрывается презрѣніе къ обскурантамъ, и это «невмѣшательство» можетъ въ любой моментъ превратиться въ агрессивную «борьбу съ предразсудками, суевѣріями и клерикализмомъ».

Единственная область духовной культуры, которую онъ готовъ поощрять, это искусство, особенно если оно забываетъ о своемъ великомъ служеніи и стремится угождать его капризамъ. Но тогда оно должно отречься отъ своихъ здоровыхъ и глубоко укорененныхъ традицій, требующихъ цѣлостнаго созерцанія и вдохновенія, — и вступить на путь частичныхъ, условныхъ и относительныхъ замысловъ: искусство должно заняться своимъ чувственнымъ нарядомъ и какъ можно заманчивѣе, какъ можно эффектибѣе разукрасить его; оно должно предаться опьяняющему «импрессионизму», или дико-невиданному «футуризму», или вымученному, острому и пряному «модернизму»; чтобы получить успѣхъ и признаніе, оно должно стать наружно-внѣшнимъ, притязательнымъ, экстравагантнымъ, оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной публики нервную щекотку...

Все это создаетъ выродившуюся культуру и въ основѣ этой выродившейся культуры лежитъ выродивш

ша я ся жизнь, душа расколотая, духовно-безсильная, мажорная и нервно-растрепанная, безпочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которые он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем «настроения». Если ему удастся держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удастся, то он становится жертвой ипохоррии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее — недоступно ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта безпредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда неуверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, односторонняя и частичная. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески безсильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

«И ненавидимъ мы, и любимъ мы — случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой то холодъ тайный,
Когда огонь горить въ крови»...

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нѣтъ»; но если он отрекается и говорит «нѣтъ», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, не окончательно и недостоверно. Его слова слѣдует воспринимать, как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить «так», но может — и совсем иначе: ибо слова и решения его духовно безпочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя — ему нѣтъ охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрѣлый духовный характер подобен укрепленному городу, в центр которого находится кремль: здесь построены храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищань». Здесь все соединяется и все объединяется; отсюда исходят все важные решения; отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда свѣтит разум.

Расколотый человек совсем не может себя и представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмѣше

ніе», въ которомъ протекаетъ его жизнь, — эта собственная дисгармонія, эта ничѣмъ-не-связанность, этотъ капризный произволь, — и онъ объявляетъ эту душевно-духовную смуту «высшей дифференціаціей духа»... Въ немъ сосуществуютъ рядомъ нѣсколько «центровъ»; онъ ни одному изъ нихъ не общается вѣрности и воображаетъ поэтому, будто онъ выше всякой измѣны и всякаго предательства. Какъ только одинъ изъ этихъ «полу-центровъ» (или вѣрнѣе одна изъ этихъ «точекъ зрѣнія») оказывается неудобнымъ или неудовлетворительнымъ, такъ онъ «переѣзжаетъ въ другую квартиру» и опять устраивается съ удобствомъ, ничѣмъ не связанный, ко всему готовый, ни во что не вѣрующій, ничего не любящій, скорый и легкій въ предательствахъ и всегда самодовольный. И при всемъ томъ онъ совсѣмъ не понимаетъ ни своего дѣйствительнаго состоянія, ни своей великой бѣды; и если бы кто-нибудь сталъ объяснять ему его недугъ, онъ не захотѣлъ бы ни слушать, ни вѣрить; а если бы Божій лучъ освѣтилъ его душу, то онъ зажмурился бы, чтобы не увидѣть правду.

Этотъ расколъ въ современномъ человѣкѣ былъ съ самаго начала чреватъ грядущимъ разложеніемъ. Онъ возникъ въ ту эпоху, когда европеецъ отвергъ авторитарную религію и предался свободному изслѣдованію и свободной мысли. Свободное изслѣдованіе было бы вполне соединимо и согласуемо съ христіанской религіей, — путь, на который указалъ Василиій Великій въ своемъ «Шестодневѣ». Человѣку съ самаго начала было дано и указано отъ Бога воспринимать божественное откровеніе не только изъ Священнаго Писанія, и не только изъ личнаго духовнаго дѣланія — изъ любви, изъ совѣсти, изъ молитвы и изъ культурнаго творчества, — но еще и изъ созерцанія богосозданной природы и твари, въ сокровенномъ существѣ которой заложены великій замыселъ ея Творца. Однако историческое развитіе пошло инымъ путемъ. Начался процессъ секуляризаціи: — католическая церковь не питала довѣрія къ свободно изслѣдующему человѣку и стремилась ограничить или совсѣмъ подавить эту опасную свободу; а изслѣдователи стали испытывать церковную опеку, какъ неудобноносимое бремя. И вотъ, люди обратились къ природѣ съ напряженнымъ любопытствомъ и съ естественной любознательностью, но отвернулись отъ церковнаго Христіанства; а разъ отвернувшись отъ Христіанства, они отвергли и его дары, — и прежде всего христіанскую любовь и сердечное созерцаніе. Такъ созерцаніе было замѣнено наблюдениемъ, а наблюденіе стало свѣтскимъ, близорукимъ и самодовольнымъ; оно велось съ величайшимъ усердіемъ и подъемомъ, но въ обращеніи къ чувственному міру оно стало уходить все дальше и дальше отъ христіанскаго духа. Оно освобождалось все больше отъ религіозныхъ предпосылокъ, признавая ихъ «эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми помѣхами, и поставило себѣ задачу — все понять и все объяснить безъ Бога. Наблюдающее изученіе природы не нуждалось уже въ понятіи «Бога», какъ объясняющей гипотезѣ, и признало наконецъ, что его «объясненія» оказываются тѣмъ болѣе удачными и ус-

пѣшными, чѣмъ послѣдовательнѣе оно отказывается отъ идеи Божественнаго вообще. И только философы пытались еще говорить о Богѣ; однако и у нихъ эти высказыванія становились все болѣе неопредѣленными и скудными, ибо рационализмъ все повышалъ свои запреты и все строже требовалъ «послѣдовательности», постепенно превращая идею Бога то въ идею «субстанции вообще», то въ идею «духа» вообще, избѣгая касаться вопроса объ «абсолютномъ» и впадая въ скудоумный релятивизмъ.

Такъ сердечное созерцаніе Христіанства и боголюбивый и бого-взыскующій созерцательный разумъ—превратились постепенно въ отвлеченный разсудокъ, въ сухое, наблюдающее и анализирующее мышленіе, въ «индукцію», оторванную отъ созерцанія сердца и вчувствованія. Этотъ методъ вытѣснялся сначала въ изученіи внѣшней, матеріальной природы, а затѣмъ былъ перенесенъ на внутренній, душевно-духовный міръ; и послѣдовательное примѣненіе его не могло не повести къ оскудѣнію и опустошенію знанія. Внѣшнія связи чувственнаго міра успѣшно устанавливались и оказывались практически полезными; самодовольное наблюденіе оправдывалось съ точки зрѣнія техники, получавшей все большую самостоятельность въ отрывѣ отъ истиннаго и глубокаго познанія. Но внутреннія реальности духа и утонченная «ткань» человѣческой души упускались изъ вида въ отвлеченно-холодномъ трактованіи, столь характерномъ для механистическаго міровоззрѣнія. Расколотый человѣкъ вырабатывалъ раскалывающую доктрину, неспособную ни узрѣть, ни осмыслить тайну жизни и міровой разумности и растеривалъ послѣдніе остатки своей духовности въ безсердечномъ и поверхностномъ «само-наблюденіи»... Его собственное естество сводилось постепенно къ анализирующему разсудку, къ безпочвенной и развязанной волѣ и бездуховному инстинкту самосохраненія. Все иное иронически отвергалось: и «суетврная» вѣра, и творческое созерцаніе съ его «безпочвенной фантастикой», и только иногда, тамъ и сямъ можно было подмѣтить ложный стыдъ, когда заглушающее и осмѣянное сердце давало знать о себѣ.

Таковъ современный культурный кризисъ. Это кризисъ нецѣльнаго духа, расколотаго, расщепленнаго человѣка. Чѣмъ раньше люди постигнутъ это, тѣмъ лучше. Чѣмъ мужественнѣе, чѣмъ отчетливѣе и строже это будетъ формулировано, принято во вниманіе и продумано до послѣднихъ выводовъ, тѣмъ скорѣе начнется преодоленіе кризиса. Человѣкъ долженъ возсоединиться въ своемъ собственномъ существѣ. Онъ долженъ собрать распавшіяся части и члены своего естества и спрыснуть ихъ «живой водой» и с-цѣленія, на подобіе того, какъ это описывается въ русской народной сказкѣ. Но здѣсь возсоединится не тѣло человѣка, а его духъ—и для этого и с-цѣленія онъ долженъ выстрадать и вымолить себѣ благодать Святаго Духа.

Человѣческій умъ долженъ найти путь къ вѣрѣ, — не къ суетврію, занугибающему насъ, и не къ пустовѣрію, проявляющему нашу глупость, — а къ созерцательной вѣрѣ, разумной и свѣтлой, къ вѣрѣ «достаточнаго основанія». Человѣкъ долженъ побѣдить въ себѣ ложный стыдъ и не стыдиться своего сердца.

Мысль должна примириться съ творческимъ, предметнымъ воображеніемъ и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазія должна пройти черезъ школу предметной интенціи и духовной отвѣтственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совѣсти... Тогда разумокъ научится взирать и видѣть, и станетъ разумомъ; а созерцающій разумъ станетъ повиноваться сердцу, такъ что всѣ пути будутъ вести къ сердцу и исходить изъ сердца. Ибо сердечное созерцаніе, совѣстная воля и вѣрующая мысль суть три великія силы нашего будущаго, которыя справятся со всѣми проблемами, неразрѣшимыми какъ для безсердечной свободы, такъ и для противосердечнаго тоталитаризма. Для разрѣшенія ихъ нуженъ цѣльный, цѣлостный, и сцѣленный челоѣкъ, заповѣданный намъ Евангеліемъ.

И тотъ, кто взглянетъ вдаль духовно-отверстымъ окомъ и воззоветъ къ нашему будущему съ надеждою, тотъ прочтетъ надъ тѣсными вратами нашего будущаго простой и мудрый призывъ: «ищи исцѣленія!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

6.

Хвала труду.

У людей съ незапамятныхъ временъ есть вождельнная мечта, сказочный сонъ о «блаженной» странѣ, гдѣ царить изобиліе во всемъ, гдѣ «текутъ молочныя рѣки въ кисельныхъ берегахъ» и гдѣ не надо работать: «тамъ, говорятъ, все дается человѣку само собою безъ всякихъ тѣлесныхъ и духовныхъ усилій; стоитъ только захотѣть и желаніе уже исполняется въ полное удовольствіе; счастливые бездѣльники все время наслаждаются; всюду валяются лѣнивые дураки и предаются своимъ хотѣніямъ невозбранно»... Эта ребяческая и, скажемъ прямо, порочная мечта лелѣется человѣчествомъ давнымъ-давно; она не изжита и понынѣ. Жизненный идеаль сводится здѣсь къ обезпеченному, наслаждающемуся ничегонедѣланію. У всѣхъ одно единое призваніе на вѣки — убивать время лѣнью. Ненужное накопленіе жизненныхъ силъ безъ достойной затраты ихъ и безъ радостей труда. Безсмысленное прозябаніе и растрата жизни безъ любви и служенія. Всеобщее тунейдство въ міровомъ масштабѣ. Внутреннее оскудѣніе отъ внѣшняго изобилія. Пассивное, пресыщенное отупѣніе вмѣсто творческаго подъема. Подмѣна радости — наслажденчествомъ. Измѣна жаждущему, преодолюющему, созидающему духу. Вождельнное сновидѣніе полуживотнаго. Презрѣнная утопія, достойная лягушекъ въ тинистомъ болотѣ. Отреченіе отъ собственного духовнаго достоинства. Вызовъ обращенный къ Богу...

Давно пора человѣчеству порвать съ этой глупой мечтой! Давно пора понять, что жизненный идеаль обрѣтается гдѣ-то въ совсѣмъ иныхъ сферахъ. Потому, что жизнь безъ труда — позорна и несчастна, а честный трудъ есть уже наполовину само счастье; да, конечно, только на половину: ибо цѣльное счастье — не только въ честномъ, но сверхъ того еще и любимомъ, и вдохновляющемъ трудѣ надъ созиданіемъ Царства Божія.

Въ теченіе послѣдняго вѣка человѣчество много страдало отъ безработицы и накопило жизненный опытъ, который давно пора продумать и осмыслить. Пора признать и выговорить, что безработица, какъ таковая, пусть обезпеченная или даже затопленная частными и государственными субсидіями, унижаетъ человѣка и дѣлаетъ его несчастнымъ. Уже одно это томительное чувство, что «я въ жизни не нуженъ», или что «мірѣ во мнѣ не нуждается», что я выброшенъ изъ великаго процесса мірового труда и сталъ соціальной пылью, лишней и вѣтромъ го-

нимой пылью мірозданія, — пробуждаєть въ сердцѣ здороваго человѣка всевозможныя ощущенія личной несостоятельности, приниженности, обиды и горечи. Если кто-нибудь желаетъ работать, — а это желаніе присуще всякому здоровому человѣку, — и при каждой попыткѣ найти работу наталкивается на жесткое и холодное «нѣтъ», то имъ естественно овладѣваетъ безнадежность. Онъ видитъ, какъ другіе работаютъ и зарабатываютъ себѣ пропитаніе, онъ чувствуетъ себя сопричисленнымъ къ соціальному отбросу, — и въ душу его вселяется гнѣвъ или затаенная злоба; онъ предается зависти и ненависти, и начинаетъ помышлять о мести и революціи,

Какъ томительна жизнь въ этомъ вынужденномъ ничегонеделаніи!... Весь Божій день проходитъ въ безсмысленной пустотѣ и мертвой скукѣ, такъ что въ концѣ концовъ человѣкъ радуется любому заполненію тянущихся часовъ, каждому, даже самому вульгарному, развлеченію, всякому политическому или уголовному приключенію... Трудно себѣ представить, какія беспочвенныя «идеи», какіе глупые замыслы, какія фантастическія или прямо чудовищныя жизненныя комбинаціи проносятся день и ночь въ воображеніи цѣлодневнаго лѣнтяя; и многое изъ этого больного вздора начинается ему казаться «возможнымъ» и осуществимымъ; многое становится для него прямымъ искушеніемъ, борьба съ которымъ требуетъ отъ него выдержки и мужества... Униженный до праздношатайства, привыкшій къ лѣни и пустомыслию, человѣкъ незамѣтно начинаетъ смотрѣть на жизнь съ безнадежностью, на честную работу съ отвращеніемъ и на правопорядокъ съ презрѣніемъ. И эта печальная реакція на безработицу является, въ сущности говоря, психологически понятной — и здоровой... Ибо здоровому человѣку трудъ нуженъ, какъ воздухъ, какъ уваженіе къ себѣ самому, какъ радость, какъ молитва.

Представимъ себѣ жизнь здороваго человѣческаго организма. Въ этомъ живомъ центрѣ энергій, въ этомъ пожизненномъ «perpetuum mobile» непосредственно образуются и скапливаются химическіе, электрическіе, фізіологическіе и психологическіе заряды. Отрекающійся аскезъ можетъ снизить ихъ размѣры и ихъ интенсивность, но ихъ созданіе и ихъ «давленіе» не можетъ быть ни остановлено, ни прекращено на протяженіи всей жизни. Эти матеріальныя и инстинктивныя скопленія энергіи, эти нервныя напряженія, эти волевыя притязанія, эти волны чувства и это гудѣніе мыслей, — все это должно быть устроено, организовано и истрачено въ жизни человѣка. Все это желаетъ быть «отреагировано», цѣлесообразно «израсходовано», осмыслено-изжито: все это требуетъ благодѣтельнаго и устрояющаго труда. Ибо трудъ даетъ заряду — разрядъ, онъ освобождаетъ, «распрягаетъ», уравниваетъ, успокаиваетъ. Приливъ нуждается въ отливѣ, для того, чтобы отливъ снова уступилъ мѣсто приливу. Безработная соціальная «пыль» должна быть вновь принята и включена; она должна снова включиться въ работу; иначе она станетъ жертвою порока и преступленія, орудіемъ политическихъ приключеній, двигателемъ революцій и войнъ...

Человѣку отъ природы присуща здоровая потребность — быть чѣмъ-то въ жизни, что-то вѣсить на вѣсахъ бытія, пользоваться признаніемъ и уваженіемъ. Это естественно и совсѣмъ не предосудительно, если только эта потребность не превращается въ назойливое тщеславіе или въ большое властолюбіе. Каждое человѣческое существо, какъ центръ личной энергіи и какъ духовный индивидуумъ, имѣетъ притязаніе и право продѣлать въ жизни извѣстный искусь, испытать свои силы и «оправдаться» своими достиженіями: ибо тотъ, кто оправдался, кто «показалъ» себя съ лучшей стороны и доказалъ всѣмъ свою положительную силу, — тотъ привлечетъ къ себѣ общее уваженіе и самъ установитъ свой жизненный вѣсъ. А для этого есть только одинъ путь: трудиться и трудомъ своимъ создавать новое и благое. Въ этомъ и состоитъ жизненное испытаніе; именно этимъ человѣкъ «оправдываетъ» свое земное бытіе. Здѣсь мало «мочь», — здѣсь надо совершить и создать; мало говорить пустыя слова «я бы могъ, если бы захотѣлъ»: надо захотѣть и осуществить, «показать себя на дѣлѣ»... И какъ только человѣкъ перестаетъ «мечтать» и «болтать», какъ только онъ «облекаетъ» (инвестируетъ) свою личную энергію въ созиданіе, — такъ трудъ его даетъ плоды, и онъ самъ оправдывается на дѣлѣ. Каждый изъ насъ долженъ имѣть за собою такія выдержанныя испытанія, такіе понесенные и оправдывающіе его труды. Каждый изъ насъ долженъ утвердить себя въ жизни; онъ долженъ быть «признанъ»; онъ долженъ пріобрѣсти спокойную увѣренность въ себѣ; онъ долженъ показать, что онъ способенъ прокормить себя и свою семью. Отсюда у людей возникаетъ нѣкое инстинктивное уваженіе къ самому себѣ, которое въ дальнѣйшемъ присоединится къ чувству собственнаго духовнаго достоинства. Смѣшны бывають тѣ люди и тѣ народы, которые проявляютъ это чувство въ наигранной важности, въ «сверхпочтенномъ» одѣванні и въ чванливыхъ манерахъ; и когда видишь это, то невольно думаешь о томъ, что здѣсь «показное» прикрываетъ скрытые пробѣлы и недостатки «внутренно-подлиннаго»... Ибо надо умѣть преодолѣвать до невѣсомости и свою жизненную борьбу и свое мнѣніе о себѣ самомъ...

Такъ или иначе, но всякій истинный успѣхъ на землѣ есть успѣхъ труда.

Съ этого и начинается то, что слѣдуетъ называть «счастьемъ труда»; — но только начинается. Это счастье состоитъ далѣе въ общеніи съ природою. Такъ обстоитъ дѣло и у земледѣльца, и у лабораторнаго ученаго, у желѣзнодорожнаго сторожа и у художника, у матроса и у врача, у фабричнаго рабочаго и у священника. Каждый изъ нихъ по своему вступаетъ въ общеніе съ природою. Каждый учится у нея, каждый старается приспособиться къ ней, использовать ее для своихъ цѣлей, какъ бы уговорить ее. И это прислушивающееся уговариваніе природы, это овладѣвающее ее обученіе у нея, это осторожное одолѣваніе и подчиненіе ей — является для каждаго духовно живущаго человѣка одною

изъ радостей въ земной жизни. Бережно и внимательно вступаетъ человѣкъ въ соприкосновеніе съ окружающей его матеріализованной мудростью, пытается предусмотрѣть ея возможныя комбинаціи и по новому воспользоваться ими на пользу человѣка. И бываетъ такъ, что она его умудряетъ, а иногда и наказуетъ, а иногда она и награждаетъ его сторицею. Въ трудѣ природа и культура «братаются» другъ съ другомъ, а человѣку выпадаетъ на долю радость посредника въ этомъ вѣковѣчномъ процессѣ. Міръ вращается не зря, не безсмысленно: это есть внутренняя борьба за совершенствованіе и это выражается уже въ томъ, что человѣку дается возможность познавать устройство міра и до извѣстной степени направлять его развитіе. Человѣку дается счастье вкладывать свои трудовыя и творческія силы въ этотъ процессъ борьбы и страданія, и притомъ все въ большемъ размѣрѣ и съ большимъ успѣхомъ. Ибо въ мірѣ дремлютъ еще необозримыя, непредусмотримыя возможности культурнаго повиновенія.

Такимъ образомъ трудъ позволяетъ «берущему» человѣку не только «брать», но и «давать». Каждый человѣкъ «беретъ», и у природы, и у другихъ людей — уже ребенкомъ — и до послѣдняго вздоха. Каждый нравственно чуткій человѣкъ знаетъ объ этомъ и живетъ съ этимъ чувствомъ всю свою жизнь. Поэтому въ немъ и не исчезаетъ потребность — д о с т о й н о о т п л а т и т ь за полученные дары и превратить одностороннее «полученіе» въ благодарный «обмѣнъ дарами». Полученіе обязываетъ; «оплата» облегчаетъ душу и снимаетъ съ нея бремя. Но интенсивнѣе всего человѣкъ «даетъ» тогда, когда онъ отдаетъ себя или предается, а именно въ любви и въ трудѣ. Не даромъ сказаны слова «о потѣ лица твоего»; а духовный трудъ поглощаетъ человѣка еще больше, чѣмъ тѣлесный. Каждый настоящій человѣкъ хочетъ, «получая», оправдаться передъ природой и передъ людьми; и онъ правъ въ этомъ. Онъ «инвестируетъ» свою силу, свою волю, свою мысль, свою любовь, свое воображеніе — въ свой клочекъ земли, въ свой ткацкій станокъ, въ свою книгу, и тогда уже не чувствуетъ себя въ мірѣ ни тунеядцемъ, ни «приживальщикомъ». Въ этомъ освобожденіи и самооправданіи и обнаруживается б л а г о д а т н о е з н а ч е н і е т р у д а.

Но счастье труда не ограничивается и этимъ. Всякій трудъ есть и з с л ѣ д о в а н і е и всякій трудъ есть расширеніе человѣческаго горизонта, человѣческихъ перспективъ и человѣческой власти. Каждый трудящійся созерцаетъ, приспосабливается къ природѣ и имѣетъ дѣло съ новыми сочетаніями и заданиями въ мірѣ. Нѣтъ повтореній въ жизни и въ исторіи. Каждое мгновеніе ново, небывало и своеобразно. Каждое изъ нихъ ставитъ новыя задачи и открываетъ новыя постиженія. Надо только улавливать ихъ и вѣрно истолковывать. Въ повседневной жизни это называютъ «жизненнымъ опытомъ» и «культурной традиціей». Но каждый жизненный опытъ есть цѣлое гнѣздо сужденій и познаній; и каждая традиція есть драгоценное наслѣдіе, оставшееся отъ прежнихъ изслѣдованій. Пока че

ловѣкъ живетъ, онъ ищетъ въ жизни «вѣрнаго пути» (философски говоря — онъ ищетъ «метода», отъ греческаго *μέθοδος*). А вѣрный путь это тотъ, который ведетъ къ предметной субстанціи міра, и слѣдовательно къ Божіей Идѣи и къ Божіей ткани. Въ молитвѣ и въ состояніи вдохновенія этотъ путь близокъ намъ и обрѣтается легко. Но его надо находить и по нему надо итти и въ повседневной работѣ; а для этого человѣку нужна мудрость тысячелѣтій, традиции близкихъ и далекихъ предковъ, опытъ отцовъ и личная изслѣдовательская энергія въ работѣ. Тогда человѣкъ работаетъ вмѣстѣ со всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ; онъ пользуется всѣмъ добытымъ и приобрѣтеннымъ, какъ великимъ вспомогательнымъ наслѣдствомъ и чувствуетъ себя идущимъ впереди всего прошлаго, какъ бы послѣднимъ звеномъ въ цѣпи этого стародавняго изслѣдовательства. И всякое новое полезное изобрѣтеніе примыкаетъ, какъ новодобытый результатъ, къ длинному ряду прошлыхъ познаній.

А сколь велика радость труда при каждомъ творческомъ достиженіи! Въ такой творческой трудъ человѣкъ вкладываетъ себя цѣликомъ, онъ весь въ движеніи и напряженіи — отъ скрытыхъ побужденій инстинкта вплоть до высшихъ способностей духа. Все сосредоточивается въ направленіи на единую цѣль, все переживаетъ подъемъ и полѣтъ; все ищетъ и созерцаетъ, предчувствуетъ и взываетъ; все всматривается въ приближающуюся даль и напряженно ждетъ въ надеждѣ. Искры вспыхиваютъ во тьмѣ и снова исчезаютъ. Холодъ восторга проносится въ душѣ. Духъ «уже знаетъ» нѣчто такое, чего онъ еще не постигъ, а сердце поетъ заранѣе и не сомнѣвается въ побѣдѣ. Тогда человѣкъ начинаетъ чувствовать себя орудіемъ высшихъ силъ и научается сдерживать свое дыханіе, чтобы не сдѣлать какого-нибудь своевольнаго, ложнаго шага; человѣкъ начинаетъ опасаться за свое достоинство; вступая въ цѣпь предметныхъ необходимостей и постигая ихъ, онъ ликуетъ въ духовной радости; онъ сразу — и счастливъ, и смущенъ, и сердце его преисполнено благодарности... А потомъ, когда трудъ уже законченъ и новое созданіе предстоитъ оку, тогда человѣкъ испытываетъ еще большее смущеніе при мысли, что онъ создалъ нѣчто вполне самобытное, ибо Господь видѣлъ его сердце, а оно хотѣло создать нѣчто истинное, а не новое и не своеличное; и тогда рождается потребность вновь и вновь провѣрить и удостовериться, что «субъективное» не подмѣнило истины и «новое» не исказило предмета... А впослѣдствіи человѣкъ смиренно шепчетъ про себя благодарственную молитву за то, что ему удалось «немножко увѣковѣчиться»; ибо по-истинѣ ничто не исчезаетъ въ мірѣ безслѣдно, каждый трудъ «вплетается» или «врастаетъ» въ ткань мірозданія, пріемлется ею и органически питаетъ и укрѣпляетъ ее... Пусть человѣкъ только трудится, вѣрнопреданно и самозабвенно, въ предметномъ направленіи и не щадя своихъ силъ... Остальное есть дѣло Божьяго попеченія и суда...

А если этот творческий трудъ осуществляется въ искусствѣ, или если онъ по крайней мѣрѣ переживается самимъ человекомъ въ художественномъ измѣреніи, тогда радость становится еще большей. Ибо художникъ призванъ созерцать и выговаривать въ своей земной работѣ — Сверхземное. Онъ медитируетъ изъ глубины; и та глубина, которую онъ видитъ, или, вѣрнѣе, которая имъ овладѣваетъ, желаетъ явиться міру черезъ него. Онъ долженъ только чувствовать заботу и отвѣтственность, чтобы не исказить тѣ предметныя содержанія, которыя открываются ему и овладѣваютъ имъ, — своими субъективными образами и матеріаломъ своего искусства... И вотъ, эту отвѣтственность несутъ каждый человѣкъ, причастный художественному чутью въ исполняемой имъ работѣ. Такъ садоводство и лѣсонасажденіе приобрѣтаютъ художественное измѣреніе, а вслѣдъ за ними и всякій хозяйственный трудъ: тогда садовникъ, или иной владѣлецъ, размышляетъ о своемъ земельномъ участкѣ или о своихъ постройкахъ въ болѣе глубокихъ измѣреніяхъ, чѣмъ измѣреніе «пользы» и «выгоды», и придумываетъ единый планъ цѣлаго, не только доходный, но имѣющій свое символически-художественное значеніе; тогда всѣ части и всѣ принадлежности этого цѣлаго, созерцаются, какъ необходимые «члены» цѣлаго художественнаго организма: они несомы единою идеей, которая ихъ отбираетъ и освѣщаетъ. И тотъ, кто никогда еще не видалъ такого художественно-символическаго парка или сада, которыми изобилуютъ напр. окрестности озера Комо въ Италіи, тому предстоятъ еще благородныя эстетическія впечатлѣнія...

И все это вмѣстѣ создаетъ счастье труда. Кто увидитъ это, — а въ этомъ долженъ былъ бы убѣдиться каждый изъ насъ, — тотъ постигнетъ высшій смыслъ человѣческаго труда и строительства. Тотъ, кто трудится, участвуетъ въ жизни бого-созданной ткани міра: онъ содѣйствуетъ ея постиженію, ея развитію и ея полному расцвѣту. И тотъ, кто участвуетъ въ этомъ великомъ дѣлѣ, и помышляетъ не только о пропитаніи, но ищетъ цѣлостнаго здоровья, творческой радости, земного счастья, своего личнаго самоутвержденія въ мірѣ и самооправданія передъ лицомъ Божиимъ, кто трудясь, желаетъ стать художникомъ Царства Божія на землѣ, тотъ имѣетъ всѣ основанія возносить молитву благодарности передъ началомъ труда и по его окончаніи.

7.

О творческомъ человѣкѣ.

Вотъ кто съ полнымъ правомъ требуетъ себѣ свободы, притязаетъ на нее и добивается ея. Она должна быть ему предоставлена и обезпечена, чтобы никто не смѣлъ ему ничего предписывать и чтобы никакая человѣческая власть на землѣ не запрещала ему творить, какъ ему Богъ на душу положить... Никакое внѣшнее указаніе не должно ограничивать его духовное созерцаніе; ему не слѣдуетъ говорить «твори такъ» и «не создавай того-то». Ибо всякая предварительная цензура мѣшаетъ его творчеству и всякое предписание пресѣкаетъ его вдохновеніе. Если только онъ достаточно проникнуть чувствомъ отвѣтственности, то всякое постороннее вмѣшательство излишне. Ибо творчески облагодатствованный человѣкъ предстоитъ высшей власти въ высшемъ измѣреніи; онъ отъ нея получаетъ свое направленіе и ей повинуются; и потому ему должна быть предоставлена свобода творческаго усмотрѣнія. Это не есть свобода злодѣйства или преступленія. Это не есть и разнузданіе ко вседозволенности. Это не есть и право на развратъ, на пошлость и на безвкусіе. Но это есть право на свободную творческую м о л и т в у; это есть свобода совѣстнаго и отвѣтственнаго Богохваленія...

Для такихъ людей надо дѣлать все, чтобы расширить имъ ихъ земныя возможности и облегчить имъ процессъ ихъ творчества. Если такому человѣку необходимъ творческій покой, то надо ему обезпечить тишину и беззаботность. Если ему нужна эта мраморная глыба, чтобы создать изъ нея «Давида» Микель-Анджело, то надо позаботиться о доставленіи этого мрамора въ его мастерскую. Если онъ мечтаетъ о новой, невиданной скрипкѣ, которая будетъ пѣть ангельскими голосами, то надо помочь ему въ осуществленіи этой мечты. Если ему нуженъ въ его лабораторіи новый аппаратъ для регистраціи человѣческой ауры, то нужно сдѣлать все возможное, чтобы исполнить его желаніе. Его общеніе съ внѣшнимъ міромъ, — съ природой или съ людьми, — должно быть по возможности облегчено ему. Надо избавить его отъ нужды. Надо оградить его отъ грубыхъ, пошлыхъ, навязчивыхъ людей. Нельзя допускать, чтобы онъ, подобно Леонардо да Винчи, всю жизнь подыскивалъ себѣ прозаическій или вульгарный заработокъ помимо своего вдохновеннаго призванія. Онъ не долженъ терпѣть всю жизнь нужду и биться съ долгами подобно Рембрандту, Бетховену, Гоголю и Достоевскому. Нельзя мириться съ тѣмъ, что его, подобно Шопену,

преждевременно свести въ могилу бѣдность и голодъ. Непозволительно оставлять его беззащитнымъ въ тотъ опасный часъ, когда какой-нибудь порочный и злой авантюристъ, на подобіе Дантеса или Мартынова, покусится на него, какъ на Пушкина и Лермонтова, чтобы убить его наединѣ. Напротивъ, его жизненный путь долженъ быть огражденъ и сложенъ, чтобы онъ могъ свободно предаваться своему вдохновенію, создавая свои лучшія произведенія и выговаривая свои видѣнія для вѣчности. Ибо въ такомъ человѣкѣ поистинѣ струится Божій потокъ, а къ его словамъ и пѣснямъ прислушиваются ангелы.

Аристотель сказалъ однажды, что человѣкъ «свободенъ отъ природы» тогда, если онъ способенъ имѣть свои мысли, а не только воспринимать чужія; если же онъ свободенъ отъ природы и вынашиваетъ свои собственные мысли, то онъ нуждается въ «досугѣ», чтобы вынашивать эти творческія идеи. Понятно, что здѣсь дѣло идетъ не о простыхъ и кое-какихъ мысляхъ, но объ идеяхъ и концепціяхъ, которыя воспринимаются духовнымъ окомъ и духовныхъ слухомъ изъ самой сущности мірозданія.

«Досугъ» рабочаго человѣка отводится ничего-не-дѣланію, развлеченіямъ и наслажденіямъ, спорту или дремотѣ. Досугъ творческаго человѣка посвящается сосредоточенному созерцанію, напряженному труду, истинному созиданію, — подчасъ великой мукѣ, иногда сплошному блаженству. Предаваясь своему «досугу», творческій человѣкъ отводитъ все несущественное, механическое и случайное, чтобы жить только существеннымъ, органическимъ и необходимымъ. Онъ живетъ не разсѣянно, не развлеченно, а сосредоточенно. Онъ освобождаетъ себя отъ всѣхъ субъективныхъ капризовъ и произволеній. Онъ погружаетъ свой взоръ во «внутреннее», въ глубину; но не просто въ пространства своихъ субъективныхъ переживаній, воспоминаній и фантазій, но въ сферу предметнаго бытія, чтобы воспринять его сущность, чтобы удержать ее и выразить ее въ вѣрной и точной формѣ. Именно поэтому окружающимъ его людямъ кажется, что онъ «отсутствуетъ» и не видитъ ближайшаго; но это означаетъ только, что онъ присутствуетъ гдѣ-то въ иныхъ «мѣстахъ». Они считаютъ его нерѣдко «мечтателемъ» или «фантазеромъ» и причисляютъ его къ «трезящимъ поэтамъ»...

Лишь немногіе, причастные духовному опыту, знаютъ, что онъ переживаетъ и что въ немъ происходитъ, зачѣмъ ему нужна свобода и чѣмъ онъ заполняетъ свой досугъ. Ибо на самомъ дѣлѣ его внѣшнее освобожденіе и его кажущаяся «разсѣянность» служатъ нѣкой внутренней связующей необходимостью и его драгоценныя досуги, которые Пушкинъ любилъ обозначать словомъ «лѣнь», заполнены напряженнымъ созерцаніемъ или духовнымъ вслушиваніемъ. Онъ, свободный, связанъ, какъ никто другой; и его свобода служить ему для того, чтобы постигать эти внутреннія необходимости и слѣдовать ихъ требованіямъ. Онъ совсѣмъ не воленъ выдумывать, что угодно; ему не предоставляется произвольно изобрѣтать или «построять» по собственному усмотрѣнію. Онъ долженъ в н и м а т ь — со-

зерцать» и «вслушиваться». Онъ призванъ «погружаться» въ предметъ до тѣхъ поръ, пока этотъ предметъ не овладѣетъ имъ. Тогда онъ почувствуетъ себя въ его власти; или, познавательно говоря, онъ почувствуетъ, что видитъ предметъ съ силою очевидности. Въ этомъ состояніи онъ долженъ пребывать до тѣхъ поръ, пока предметъ не захочетъ говорить черезъ него, а самъ онъ не почувствуетъ себя готовымъ стать «орудіемъ» своего предмета, какъ бы зажить его «пульсомъ» и «дыханіемъ». Тогда онъ получить право и основаніе выразить пережитое содержаніе — излить его, въ формѣ сонета, романа, сонаты, статуи, картины, изслѣдованія, философскаго «описанія», богословскаго трактата, проповѣди, новаго закона или зрѣлаго совѣстнаго поступка. И тогда его произведеніе возникнетъ черезъ него, а не только изъ него. Тогда онъ окажется какъ бы «цѣвницей» своего предмета, его посредникомъ и возвѣстителемъ. Можетъ быть даже кто-нибудь услышитъ въ немъ арфу Божию.

То, что онъ воспринимаетъ и созерцаетъ, есть объективная, предметная сущность бытія, къ которому человѣкъ долженъ проникнуть, — каждый человѣкъ, каждый изъ насъ; ибо каждый изъ насъ призванъ жить на землѣ изъ самой субстанции и ради нея, изъ Главнаго и для Главнаго, а не пылить, задыхаясь отъ собственной пыли. Въ самомъ дѣлѣ, наша земная жизнь состоитъ изъ двухъ элементовъ: изъ несущагося потокомъ, неисчерпаемаго хаоса случайной пыли и изъ сокровенно сіяющей и тихо призывающей субстанціальной ткани. Смыслъ жизни состоитъ въ томъ, чтобы мы преодолѣвали эту хаотическую пыль случайныхъ единичностей и проникали къ субстанціальной ткани, чтобы закрѣпиться въ ней. Каждый изъ насъ начинаетъ свой жизненный путь какъ бы въ ночи, окруженный неудобопроглядной темнотою: вокругъ жуткая неизвѣстность и только тамъ и сямъ черезъ мракъ сверкаютъ и приываютъ далекія звѣзды. И каждый изъ насъ призванъ къ тому, чтобы всмотрѣться и вчувствоваться въ тотъ единый и единственный источникъ свѣта, отъ котораго эти звѣзды заимствуютъ свое сіяніе. И можетъ быть слишкомъ многіе изъ насъ всю жизнь блуждаютъ въ этой темнотѣ и выходятъ къ единому Свѣту лишь послѣ своей земной смерти...

Безпомощны мы, люди, въ этихъ земныхъ сумеркахъ, то и дѣло сгущающихся въ полную темноту. А многіе можетъ быть совсѣмъ и не знаютъ о томъ, что они безпомощны и что имъ нужна помощь: ихъ лишенность не осознана ими, они не ищутъ и не добиваются высшаго. А между тѣмъ творческіе люди могли бы имъ помочь. Мало того: они должны все время помогать, не спрашивая о томъ, есть ли зовущіе на помощь, и кто они, и гдѣ они. Они призваны созерцать, вынашивать и отдавать; они должны готовить свои дары и отдавать, разсылать во всѣ стороны свои лучи, — не званые, не прошеные, нерѣдко отвергаемые или изгоняемые, можетъ быть даже побиваемые камнями. Первый лучъ всегда беспокоитъ освѣщеннаго, второй — раздражаетъ его, третій оскорбляетъ; и нерѣдко лишь чет-

вертый пробуждаетъ, и тогда уже слѣдующіе лучи согрѣваютъ и исцѣляютъ. А тотъ, кто былъ побитъ камнями, — свѣтитъ, грѣетъ и исцѣляетъ даже и посмертно.

Надо будить въ людяхъ потребность въ чистомъ воздухѣ Божіихъ пространствъ; надо, чтобы людямъ становилось душно, тоскливо и горько въ пыли ихъ земной жизни, въ безмысленномъ хаосѣ ихъ чисто субъективныхъ мелочей. Надо будить въ людяхъ волю къ священной Предметности, къ божественнымъ лучамъ, къ духовной радости. Эту потребность надо будить въ нихъ какъ можно раньше, чтобы они не проспали всю свою жизнь въ слѣпотѣ и темнотѣ. Благородныя натуры живутъ этой волей всю свою жизнь; она подобна въ нихъ естественной жаждѣ, которая утоляется только творческимъ созерцаемъ. Личный успѣхъ въ жизни не удовлетворяетъ ихъ; ихъ «своекорыстіе», названное у Аристотеля духовнымъ эгоизмомъ, ищетъ сверхличнаго, высшаго, духовнаго, предметнаго. Они всю жизнь ищутъ того пути, который увѣренно ведетъ и приведетъ ихъ къ Субстанции, — во всемъ и вездѣ: въ вѣрѣ, въ наукѣ, въ искусствѣ, въ политикѣ, въ личныхъ отношеніяхъ съ людьми, въ службѣ и въ воспитаніи. Они ищутъ пути («метода») и находятъ его; а кто нашелъ, тотъ можетъ помогать и призванъ будить; знаетъ онъ объ этомъ или не знаетъ—онъ призванный воспитатель своего народа.

Ему конечно поставятъ вопросъ, откуда онъ знаетъ, что онъ дѣйствительно нашелъ путь, что онъ созерцаетъ «предметъ» и видитъ его вѣрно, что онъ «укоренился» именно въ субстанціи, а не въ своей личной выдумкѣ. Отвѣчать на этотъ вопросъ каждый творческій человѣкъ долженъ—своими созданіями и своей личной жизнью: ибо настоящая предметность свидѣлствуетъ сама за себя, и свѣтъ, идущій изъ субстанции, изъ Божественной ткани міра — свѣтитъ благодатно и убѣдительно. Но онъ можетъ отвѣтить и словесно, дать описанія и доказательства, ясно и точно повѣствуя о своемъ пути и о томъ, чему и какъ онъ научился. Это дѣлали уже многіе, и великіе, и меньшіе люди, начиная съ Конфуція, Лаотзе и Будды — и вплоть до нашихъ дней. Каждый сдѣлаетъ это по своему, въ мѣру своего дара и искусства. Но если сравнить между собою эти описанія и совѣты, то всякій изъ насъ невольно изумится ихъ существенному родству.

Однако есть еще одинъ особый признакъ, по которому можно провѣрить свою предметность и распознать чужую. Эта своеобразная новая связь жизненныхъ содержаній, та внутренняя необходимость, которая обнаруживается въ узрѣнномъ и пережитомъ, слагаясь въ единое цѣлое. Творческій человѣкъ, открывшій эту связь и выразившій эту необходимость, знаетъ хорошо, что не онъ создалъ это новое зданіе, что онъ не изобрѣлъ его, а только нашелъ, какъ уже объективно обстоящее; онъ изумлялся найдя его, и всю жизнь радовался своему «открытію». И потому въ немъ живетъ ощущеніе, что онъ не «творилъ», а только «воспроизво-

диль», созерцая и описывая свой предмет. Въ немъ остается чувство, что искомое и найденное было древне, и сконно, можетъ быть вѣчно; и что то, что онъ увидѣлъ и выразилъ, было лишь вновь найдено и является нынѣ лишь въ новомъ облаченіи. Это есть то самое ощущение, которое привело Платона (въ діалогѣ Мэнонь) къ признанію міра идей и которое съ тѣхъ поръ называется по его имени «Платоновскимъ созерцаніемъ». Но тотъ, кто внимательно читаетъ великую книгу человѣческаго духа, тотъ найдетъ это ощущение «вновь узрѣннаго древняго обстоянія» почти у каждого изъ великихъ поэтовъ, изслѣдователей и философовъ. Въ русской литературѣ это выразилъ съ особенной силой и точностью Алексѣй Константиновичъ Толстой:

«Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ
ты создатель!
Вѣчно носились они надъ землею, незримыя оку...
... Много въ пространствѣ невидимыхъ формъ и не-
слышимыхъ звуковъ,
Много чудесныхъ въ немъ есть сочетаній и слова, и
свѣта,
Но передать ихъ лишь тотъ, кто умѣетъ и видѣть,
и слышать,
Кто, уловивъ лишь рисунка черту, лишь созвучье,
лишь слово,
Цѣлое съ нимъ вовлекаетъ созданье въ нашъ міръ
удивленный...»

А мы, которымъ позволено приблизиться къ этимъ созданіямъ, истинамъ и дѣяніямъ, воспринять ихъ и возрадоваться о нихъ, — мы нерѣдко пріобщаемся этому ощущенію «обновленной древности», или «древняго въ новомъ облаченіи», или «возродившагося Вѣчнаго», и подтверждаемъ его. Нами овладѣваетъ тихое и глубокое чувство «древлепочтеннаго» «стародавней мудрости», «прекрасной необходимости», «Бого-созданной принадлежности», «блаженнаго тако-бытія». Тогда мы отъ полноты души, и духа, и сердца, и инстинктивного чутья — произносимъ этому ново-открытому и очевидному предметному содержанію наше пріемлющее «Да» — и чувство счастья овладѣваетъ нами, счастья отъ того, что намъ дано было увидѣть это и подтвердить.

Образно выражаясь, можно было бы описать это такъ. Когда Божіи творческія идеи ниспадаютъ изъ Его вѣчнаго лона въ хаосъ грѣшнаго и неустроеннаго міра, то ихъ подхватываетъ бурный токъ смятенія, искажаетъ ихъ совершенство и растерзываетъ ихъ дивный составъ. Отсюда возникаетъ высокое заданіе: узрѣть каждую изъ этихъ идей въ ея полномъ и цѣлостномъ составѣ и возстановить ее въ ея зрѣло-совершенномъ видѣ. Египетская мифологія рассказываетъ, что когда-то Изида искала по всему свѣту тѣ четырнадцать частей, на которыя было растерзано тѣло ея супруга Озириса; и вотъ, находя и составляя ихъ, она не создавала его тѣла, но лишь возстановливала

его въ его первозданной красотѣ. Поэтому каждаго творческаго чловѣка можно сравнить съ ищущей Изидой: онъ не создаетъ, а лишь возсоздаетъ Божію идею, и радуется возможности помыслить Божій замыселъ, вѣрно узрѣть «Законъ Божій» и осуществить его. Ему свѣтитъ цѣлостный обликъ искомаго; его ведетъ любовь къ Божественному; онъ провѣряетъ себя тою высшею необходимостью, которая открывается ему въ духѣ; онъ наслаждается возсозданіемъ Вѣчнаго, онъ радуется, чуя отблескъ Божіей благодати въ своемъ созданіи.

И именно поэтому творческій чловѣкъ знаетъ лучше всѣхъ, что онъ создаетъ, воспроизводя Божію идею; и потому онъ не престанно и напряженно подьмлетъ свой взоръ къ Богу.

8. О силѣ сужденія.

Пока человѣкъ живетъ, онъ слагаетъ сужденія и руководствуется ими. Онъ судить сознательно и безсознательно; высказываясь — и совершая молчаливые поступки; дѣлая логическіе выводы и проявляя купеческую изворотливость; спрашивая и отвѣчая, и уклоняясь отъ отвѣта; вездѣ — въ политикѣ, въ искусствѣ, и въ обыденной жизни. За каждымъ жизненнымъ рѣшеніемъ и дѣяніемъ скрывается цѣлый узелъ сужденій, — иногда не высказанныхъ, иногда еле помысленныхъ, нерѣдко сокращенныхъ, быстрыхъ, такъ называемыхъ «непосредственныхъ умозаключеній». Здѣсь по большей части нѣтъ тѣхъ умственно построенныхъ, логически оформленныхъ, ясныхъ и зрѣлыхъ сужденій, съ которыми считается логика; гораздо чаще это инстинктивно вспыхивающія «сужденія пристального взгляда», заботы, страха, зависти, своекорыстія, юмора, оцѣнки, отвращенія, рѣшительнаго отказа отъ почти состоявшейся покупки или внезапнаго оборонительнаго тѣлодвиженія. И тѣмъ не менѣе — это все с у ж д е н і я.

Пока человѣкъ живетъ, онъ долженъ воспитывать и укрѣплять свою силу сужденія. Ему необходимо о р г а н и з о в ы в а т ь свой внутренній міръ и, окружающую его, виѣшнюю среду. Ему необходимъ с т р о й и п о р я д о к ѣ. Приводить въ порядокъ значитъ властно вмѣшиваться въ хаотический случайный потокъ жизненныхъ содержаній, раздѣлять, обособлять, выбирать сопринадлежащее и устанавливать новыя, жизненно - необходимыя связи, н о в у ю с о п р и н а д л е ж н о с т ь в е щ е й. Организовывать значитъ отличать с у щ е с т в е н н о е отъ н е с у щ е с т в е н н а г о и придавать существенному вѣ с ѣ и з н а ч е н і е; это значитъ устанавливать преобладаніе, подчиненіе и сочлененіе, распредѣлять функціи, обязанности и полномочія — и тѣмъ создавать цѣлостный и жизнеспособный организмъ (крестьянское хозяйство, правящее вѣдомство, фабрику, армію, школу, умственный организмъ книги, художественный организмъ картины, симфоніи, драмы и т. д.). И въ основѣ всего этого лежитъ п р о ц е с с ѣ с у ж д е н і я, какъ необходимое и творческое выраженіе жизни.

Сужденіе совсѣмъ не есть «привилегія» отвлеченныхъ мыслителей. Судить каждый человѣкъ, — образованный и необразованный, умный и глупый, теоретикъ и практикъ: каждый раздѣляетъ и связываетъ, оцѣниваетъ и выбираетъ, выдѣ-

ляетъ существенное и формируетъ, упорядочиваетъ и организуе́тъ—и на письменномъ столѣ, и въ кухнѣ, и въ гаражѣ, и въ магазинѣ, и въ парламентѣ. И это искусство—во всемъ с х в а т ы в а т ь с у щ е с т в е н н о е, все связывать существенною сопринадлежностью и согласно этому «строить жизнь» — есть и с к у с с т в о с у ж д е н і я, столь необходимое для всякой жизнеспособности, для творчества и для человѣческаго счастья. Это надо всѣмъ продумать до конца, разъ навсегда; и сдѣлать изъ этого выводы.

Вотъ почему каждый изъ насъ призванъ воспитывать въ себѣ самомъ, въ своихъ дѣтяхъ, ученикахъ и подчиненныхъ с и л у с у ж д е н і я; но не только въ нихъ, а и во всѣхъ людяхъ, съ которыми его сводить жизнь,—незамѣтно выправляя постановку вопросовъ, тактично подсказывая ихъ вѣрное рѣшеніе, уточняя мысль и настойчиво выдвигая во всемъ главное, существенное, лучшее. Ибо сила вѣрнаго сужденія лежитъ въ основѣ всей человѣческой культуры.

Это самовоспитаніе, эта борьба за свою и чужую силу сужденія осуществляется черезъ а с к е з ъ. Аскезъ обозначаетъ не только «упражненіе», но и «воздержаніе», причемъ и то и другое ведетъ къ лучшему умѣнію. Это слово говоритъ о постоянной работѣ надъ усовершенствованіемъ; вызывается же эта работа чувствомъ отвѣтственности. Аскезъ есть школа, ведущая къ лучшему; дисциплинированіе и сосредоточеніе силы; восхожденіе къ властному искусству. И гдѣ это совершается,—это упражненіе и воздержаніе, эта школа и дисциплина, — тамъ живетъ истинная а к а д е м і я, тамъ бережется и укрѣпляется сила національной мысли, «мозгъ» страны, творческая энергія знанія, то, что можно было бы назвать вмѣстѣ съ французскимъ мудрецомъ «la moëlle du lion»... Ибо аскезъ силы сужденія есть вѣрный путь, ведущій къ расцвѣту подлинной національной культуры.

Итакъ, первое, что надо дѣлать,—это будить въ людяхъ чувство отвѣтственности. Кто живетъ, тотъ судить; кто судить, тотъ обязанъ отвѣчать за свои сужденія. Ибо каждый жизненный поступокъ есть сужденіе; и, обратно, каждое сужденіе есть дѣяніе, есть жизненный актъ, который неудержимо передается во всѣ стороны, то служить благу, то приносить вредъ и причиняетъ жизненные раны. Поэтому надо вести борьбу со всякимъ безотвѣтственнымъ, легкомысленнымъ, произвольнымъ, заносчивымъ и беззастѣнчивымъ сужденіемъ и разсужденіемъ! Долой безотвѣтственность, долой легкомысленный произволь! Настоящая, серьезная жизнь доступна только тому, кто относится серьезно къ своимъ сужденіямъ и понимаетъ значеніе умственной концентраціи и духовной компетентности...

Чувство отвѣтственности вызываетъ въ людяхъ волю къ предметному и вѣрному сужденію, и, соотвѣтственно, рѣшеніе примѣнять свою силу сужденія осторожно и обоснованно. Отсюда возникаетъ готовность—воздерживаться отъ сужденія всю

ду, гдѣ нѣтъ достаточной компетентности, честно и храбро говорить «не знаю», «не вижу», «не изслѣдовалъ», «не продумалъ», «не понимаю», «не могу». Надо приучить себя къ тому, что моя сила сужденія имѣетъ свои предѣлы, что я не въ состояніи судить тамъ, гдѣ не вижу и не разумѣю; что лучше показаться кому-нибудь «неучемъ» или «глуцомъ», чѣмъ оказаться на самомъ дѣлѣ развязнымъ или даже нахальнымъ болтуномъ. Надо научиться смиренію. Важнѣе и драгоцѣннѣе быть смиреннымъ аскетомъ въ сужденіи, чѣмъ самоувѣреннымъ всезнайкою. Надо отучить себя отъ всякаго неумѣстнаго апломба, этого перваго признака ограниченности или даже глупости.

Такъ начинается воспитаніе силы сужденія. Оно начинается съ вопроса: чего требуетъ отъ насъ вѣрное сужденіе? И еще: что мнѣ надо совершить въ самомъ себѣ, чтобы производить самостоятельныя и вѣрныя сужденія? Отвѣтъ гласитъ: при каждомъ сужденіи человѣкъ долженъ интенціонально сосредоточиваться. Слово «интенція» происходитъ отъ латинскаго глагола «intendo» и означаетъ сразу: определенное направленіе и сосредоточенное напряженіе. Добывая сужденіе, надо временно зажить однимъ единымъ жизненнымъ содержаніемъ и выйти изъ остальныхъ: нужна способность къ концентрации, къ погруженію въ единое, къ уходу въ колодезь; надо выбрать одно содержаніе и предоставить себя въ его власть, «втянуться» въ него всецѣло. Это приучаетъ человѣка къ живому и интенсивному воспріятію предмета.

Но это воспріятіе должно непременно соотвѣтствовать природѣ даннаго предмета. А предметы различны, своеобразны и многовидны. Зная это, надо приготовиться къ тому, чтобы настѣжь открывать «двери» своей души всякому данному предмету. Надо отдавать въ его распоряженіе всѣ свои внѣшнія и внутреннія силы, и притомъ именно тѣ, которыхъ онъ требуетъ: свои чувственные «органы», если они понадобятся (зрѣніе, слухъ, осязаніе, обоняніе, мускульное чувство, способность ощущать тепло и холодъ и т.д.); свою силу воображенія и творческую фантазію; побужденія любви; напряженія эмоцій и аффектовъ; чувственно прикованное, не чувственно освобожденное и сверхчувственно окрыленное мышленіе; силу своей воли, а можетъ быть (напр. въ этикѣ и политикѣ) и энергію дѣйствія. Человѣкъ, желающій судить о предметѣ, долженъ быть готовъ обратиться къ нему именно тѣми силами и способностями своего существа, которыхъ онъ требуетъ. Что скажетъ о живописи слѣпой? Что можетъ произнести о музыкѣ глухой? Человѣкъ съ чувственно-связаннымъ воображеніемъ не рѣшитъ ни одной геометрической задачи. Человѣкъ съ мертвымъ или скуднымъ чувствомъ не сможетъ судить въ дѣлахъ нравственности, религіи, художества и патріотизма; безвольному и близорукому человѣку лучше не участвовать въ политикѣ ни сужденіемъ, ни дѣяніемъ...

Воспріятіе предмета будетъ мнимымъ или скуднымъ у того, кто располагаетъ только чувственными ощущеніями и отвлеченною мыслью: самое драгоцѣнное въ жизни останется недоступнымъ для него. Человѣкъ долженъ умѣть приспособляться къ тому способу бытія, который присущъ данному предмету; онъ долженъ ставить въ его распоряженіе всю «клавіатуру» своихъ человѣческихъ способностей. Только такимъ путемъ онъ построить вѣрный «мостъ» къ предмету. Только при этомъ условіи — онъ «вос-пріиметъ» въ себя предметъ своего сужденія, именно его, а не его обманчиваго сходно-именнаго «двойника». Ибо въ сужденіи дѣло идетъ не о словахъ или именахъ, а о реальностяхъ. И только тотъ, кто «вос-пріиметъ» въ себя предметъ своего сужденія, можетъ надѣяться на то, что не онъ (субъектъ) скажетъ что-то о предметѣ, а самъ предметъ «заговоритъ» черезъ него о себѣ и произнесетъ о самомъ себѣ драгоцѣнное сужденіе. ‡

Только при соблюденіи этого требованія есть надежда на удачу: человѣкъ сможетъ попытаться выразить воспринятое въ словахъ. Это не легко. Это можетъ удалиться, но не совсѣмъ; это можетъ отчасти и не удалиться. Надо зажить предметомъ и говорить изъ него. И нерѣдко человѣкъ будетъ чувствовать себя при этомъ—затрудненнымъ, медленнымъ, беспомощнымъ, ищущимъ и ненаходящимъ, «въ томленьяхъ крайняго усилія» (Фетъ). Всякій, кто пытался идти по этому пути, знаетъ, что «цѣлое» дается не легко и что иногда оно почти не дается: его надо внутренно какъ бы «дѣлить на части», сосредоточивая «лупу» своего созерцанія, своей мысли, своего слова на отдѣльныхъ «частяхъ» или сторонахъ, поочередно. И каждая «часть» потребуетъ той же самой сосредоточенности и осторожности, съ которой начиналось первое воспріятіе. У того, кто упражняется, постепенно вырабатывается особое «искусство дѣленія»—отбирающее существенное и отодвигающее несущественности, требующее неутомимаго удостовѣренія и переудостовѣренія, требующее готовности не переоцѣнивать добытое, а признавать его лишь предварительнымъ итогомъ, съ тѣмъ, чтобы начинать все снова со свѣжими силами.

Одновременно съ этимъ вырабатывается умѣніе спрашивать, ставить вопросы, та необходимая вдумчивость и осторожность умственного взора, безъ которой невозможно никакое изслѣдованіе. Надо имѣть такое чувство, какъ если бы каждый вопросъ возникалъ изъ глубины самого предмета и подсказывался имъ. Ибо настоящій вопросъ рождается не произвольно, онъ какъ бы навязывается или предписывается; онъ не произволенъ, не вяль, не лѣнивъ и не холодентъ; онъ насыщенъ, интенсивенъ, требователенъ; онъ борется, онъ зоветъ, онъ какъ бы властно стучится въ дверь. И именно предметная серьезность его создаетъ увѣренность, что отвѣтъ не замедлитъ.

Въ этомъ процессѣ возникаетъ и искусство сомнѣнія. Я разумѣю не холодное и равнодушное сомнѣніе безразличнаго человѣка: такое сомнѣніе бесплодно; оно разрушаетъ, разлагаетъ и губитъ, особенно тогда, если оно яв-

ляется безпредметнымъ, ироническимъ и всеобъемлющимъ: «сомнѣваюсь во всемъ, даже въ собственномъ сомнѣніи»... Нѣтъ, я разумѣю ищущее и добивающееся сомнѣніе, интенціонально-сосредоточенное, содержательно-опредѣленное и предметно укорененное: такое сомнѣніе немедленно вызываетъ потребность въ новомъ, вѣрномъ воспріятіи предмета, которое и осуществляется. Такое сомнѣніе драгоцѣнно, плодотворно и удостовѣряюще. Оно извѣстно всѣмъ серьезнымъ изслѣдователямъ и всѣмъ религіозно-вѣрующимъ людямъ. Оно является двигателемъ для силы сужденія, источникомъ всякаго серьезнаго знанія, орудіемъ всякаго художественнаго искусства.

Тогда можетъ родиться творческій и продуктивный «отвѣтъ», въ основаніи коего всегда лежитъ и с х о д н а я , п о д л и н н а я ч е с т н о с т ь . Этотъ «отвѣтъ» надо представлять себѣ, какъ нѣкій длительный, вѣковѣчный процессъ, который длится съ самаго рожденія первочеловѣка и его познанія, слагается и нынѣ, и будетъ длиться всегда. Не потому, что каждое человѣческое познаніе «относительно» и «недостовѣрно»; нѣтъ, каждый предметный отвѣтъ достовѣренъ и полноцѣненъ; но онъ не и с ч е р п ы в а е т ь предмета, онъ не раскрываетъ его цѣлостно, до самаго дна. Предметъ подобенъ «мажровому» цвѣтку, не имѣющему «п о с л ѣ д н и х ь лепестковъ»: онъ раскрывается все дальше и глубже, безъ конца, расцвѣтая снова и снова. Отсюда и безконечное «отвѣчаніе»: оно даритъ человѣку истину, но эта истина имѣетъ образъ «безконечно мажроваго цвѣтка». Этотъ «цвѣтокъ» не есть иллюзія или фантазія; онъ подлинно обстоитъ; онъ раскрывается самъ; и это расцвѣтаніе совершается все дальше и дальше во всемъ своемъ великолѣпіи. Сила сужденія требуетъ благоговѣнія передъ предметомъ и великаго терпѣнія.

Вотъ почему всѣмъ крупнымъ, призваннымъ мыслителямъ свойственно какъ бы вѣчно цвѣтущее мышленіе, ибо у нихъ всякое понятіе, всякое сужденіе, всякое слово — вскрываетъ новыя связи, развертываетъ новые ходы, какъ бы отверзаетъ новыя двери, ведущія къ предметнымъ источникамъ и колодцамъ, въ предметныя шахты. Такіе мыслители — качественно всегда п о д л и н н ы ; по объему и матеріалу — всегда н о в ы ; по огню своей мысли — всегда «и с к р е н н ы ». Ихъ мысль никогда не впадаетъ въ релятивизмъ; но она всегда незакончена. Ибо такимъ созданъ и такъ обстоитъ Божій міръ: такимъ помыслилъ его Господь и въ такомъ видѣ Онъ отдалъ намъ его на изслѣдованіе и познаніе, чтобы мы всюду осязали Его могущество и величіе, Его излученія, Его присутствіе и созерцали міръ, какъ живой символъ, какъ живой «іероглифъ» Божій...

И потому мы можемъ быть увѣрены, что гдѣ начинается господствовать отвлеченное, схематическое мышленіе, упрощающее и повторяющее, разъ навсегда нашедшее мнимый «отвѣтъ» на всѣ свои невѣрные «вопросы» и самодовольно навязывающее всѣмъ свой «штампъ» или «трафаретъ», тамъ сила сужденія изсякла и омертвѣла, тамъ воцаряется мертвая ложь и пошлость (напримѣръ — «механизмъ» въ естествознаніи, «формализмъ» въ

юриспруденції, «конструктивизмъ» въ философіи, «кубизмъ» въ живописи, «модернизмъ» въ музыкѣ, «діалектическій материализмъ» въ исторіи, политикѣ и экономикѣ и т. д.).

И посему всѣмъ намъ и повсюду, и особенно намъ, русскимъ, которымъ еще предстоитъ воспитать въ себѣ національный духовный характеръ, — намъ надо упражнять и крѣпить свою силу сужденія, намъ необходимо судить свободно и отвѣтственно и высоко цѣнить аскетическое начало въ мысли. Намъ надо помнить, что безпредметныя сужденія и противопредметныя разсужденія — слагають гибельную болтовню, за которую множество людей будетъ расплачиваться долгими и жестокими страданіями.

Аскезъ силы сужденія требуетъ отъ насъ, чтобы мы честно знали, гдѣ кончается наше знаніе, гдѣ наша сила сужденія захлебывается, изсякаетъ и изнемогаетъ. Онъ учитъ насъ разсматривать наше знаніе, какъ «еще-незнаніе»; онъ приучаетъ насъ къ насыщенному и въ то же время непритязательному мышленію. Онъ ведетъ насъ черезъ всѣ преграды вопрошанія и сомнѣнія, черезъ очистительные огни самокритики и возраженія самому себѣ, такъ, чтобы мы могли выйти изъ всего этого искуса закаленными и обновленными.

Однако аскезъ силы сужденія совсѣмъ не есть проявленіе умственного безволія; ибо осторожный человѣкъ нисколько не лишень воли; и осторожность совсѣмъ не ведетъ къ разлагающему релятивизму или агностицизму. Этотъ аскезъ отнюдь не есть и прикровенное «бѣгство» отъ предмета; напротивъ, онъ означаетъ выдержанную борьбу за предметъ, мужественное движеніе къ нему. Онъ превращаетъ человѣка какъ бы въ орудіе самого предмета, въ его послушный знакъ, можетъ быть въ его живогласную трубу. Онъ даетъ намъ искусство незнанія, храбрость откровеннаго непониманія, смиреніе, чтобы учиться и поучаться. Есть великая духовная красота въ томъ молитвенномъ изслѣдованіи, которое мы видимъ у всѣхъ великихъ философовъ и естествоиспытателей, — у Сократа, Аристотеля, Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Лейбница, Халлера, Ломоносова, Либига, Ньютона, Фехнера и у другихъ. Есть дивный духовный ароматъ въ ихъ честномъ, точномъ, зоркомъ и скромномъ вопрошаніи...

Итакъ, аскезъ силы сужденія требуетъ предметной концентрации и точнаго, отвѣтственного выраженія тѣхъ содержаній, которыя восприняты отъ предмета; послѣдній этапъ ея — есть нахождение въ рной формѣ сужденія, утвердительной или отрицательной, съ точнымъ объемомъ (общимъ, частнымъ или единичнымъ). Само собою разумѣется, что все это требуетъ духовной воли, умственного напряженія съ «долгимъ дыханіемъ» и сосредоточеннаго вниманія, — именно того, что французскій скульпторъ Родѣнъ такъ неудачно пытался выразить въ напряженныхъ мускулахъ и сосущихъ губахъ мощнотѣлаго атлета («Мыслитель»); неудача здѣсь въ томъ, что сосредоточенность и напряженіе мысли отнюдь не имѣють «сомати-

ческой» (т.е. тѣлесной) и «инфантильной» (т.е. ребяческой) природы, но требуютъ наоборотъ «распряженныхъ» мускуловъ и забвенія о собственномъ тѣлѣ. Аскезъ силы сужденія есть дѣло духа. Онъ воспитываетъ къ предметности въ жизни и притомъ во всѣхъ областяхъ культуры. Онъ долженъ сообщить человѣку гибкость внутренняго акта, зоркость въ воспріятіи и точность въ описаніи и мысленіи. Онъ укрѣпляетъ въ человѣкѣ чувство отвѣтственности и строгую честность; онъ борется со всякимъ легкомысліемъ, со всезнайствомъ, съ тщеславіемъ, съ хвастливостью, празднымъ пустословіемъ и безотвѣтственной болтовней. Однимъ словомъ—это есть школа истины, красоты и культуры. И тамъ, гдѣ люди работаютъ надъ этимъ и обучаются этому, тамъ живетъ и цвѣтетъ подлинная національная академія, — въ наукѣ, въ религіи, въ искусствѣ, въ политикѣ и во всякой дѣятельности.

И прежде всего — воспитаніе судящей силы составляетъ основную задачу умственнаго образованія. «Образованнымъ» надо считать не многознающаго «энциклопедиста» и не всезнающаго «сноба»: обремененіе или переобремененіе человѣческой памяти не даетъ зрѣлости человѣческому духу. Мудрый грекъ Гераклитъ былъ совершенно правъ: «многознаніе не научаетъ человѣка владѣть умомъ»... Образованъ во истину—не перегруженный интеллектъ, напоминающій «британскую энциклопедію» или «книжный каталогъ ватиканской бібліотеки». Истинная образованность есть сила созерцанія и зрѣлость сужденія. Она отвергаетъ всякое «авторитарное» мышленіе и живетъ самостоятельнымъ творческимъ общеніемъ съ самимъ предметомъ. И потому образованіе есть прежде всего воспитаніе къ самостоятельному созерцанію и мышленію, — къ изслѣдованію.

Изслѣдованіе совсѣмъ не является монополіей ученаго и его «лабораторіи». Изслѣдуютъ всѣ, кто имѣетъ непосредственно дѣло съ предметомъ: морякъ, ведущій свой корабль; крестьянинъ, налаживающій свое хозяйство; офицеръ и солдатъ на полѣ сраженія; рабочій у своего станка; купецъ въ своей лавкѣ; учитель въ школѣ; священникъ въ своемъ приходѣ. Всюду гдѣ человѣкъ обращается съ вопросомъ къ Богу, къ природѣ и къ своему человѣческому окруженію — онъ выступаетъ въ качествѣ самостоятельнаго мыслителя и оказывается изслѣдователемъ. И этимъ онъ доказываетъ (говоря словами Аристотеля), что онъ человѣкъ «свободный отъ природы», ибо «рабомъ отъ природы является тотъ, у кого ума хватаетъ только для пониманія чужихъ мыслей», но не для выработки своихъ...

Подобно этому религіозная зрѣлость человѣческаго духа состоитъ въ томъ, что онъ отвѣтственно, осторожно и благоговѣйно судить о религіозныхъ предметахъ и дѣлахъ. Это имѣлъ въ виду еще Цицеронъ, когда производилъ слово «религія» отъ латинскаго глагола «relegĕre», что значитъ совѣст-

но и благоговѣнно воспринимать и обсуждать божественныя со-
держанія. Тотъ, кто рѣшаетъ вопросы религіи слишкомъ легко
и быстро, тотъ обнаруживаетъ ребячливое умонастрое-
ніе, которое не слѣдуетъ смѣшивать съ чистотой и цѣльностью
дѣтской души, заповѣданными въ Евангеліи. Ребячливый чело-
вѣкъ готовъ вѣрить всякому слову, слуху и вздору; онъ не
умѣетъ ни провѣрить, ни удостовѣрить; онъ не знаетъ отвѣст-
ственности и не понимаетъ священныхъ сомнѣній: и не имѣетъ
ни малѣйшаго подозрѣнія о томъ, какова таинственная глубина
религіозныхъ обстояній. Истинная религіозность начинается имен-
но съ «духовной нищеты», т. е. со смиреннаго и искренняго
«незнанія», съ подлиннаго «алканія и жажданія правды»... Чело-
вѣкъ исповѣдуетъ свою духовную скудость и отсюда въ немъ
зарождается плодотворное созерцаніе и вопрошаніе, сомнѣніе и
удостовѣреніе, отвѣтственность и внутренняя честность, которыя
никогда не успокоятся на суевѣріи, на безпочвенной фантазії,
на «соблазнѣ» и «прелести». Больной и нечистый «мистицизмъ»
отмечается, и всякое религіозное воззрѣніе, при всей его ирра-
ціональности, слагается какъ своего рода зрѣлое и благоговѣн-
ное сужденіе, какъ зрѣлый плодъ религіознаго аскеза.

Подобное этому мы видимъ и въ искусствѣ. То,
что художникъ призванъ «выговорить» въ своемъ произведеніи,
какъ «главное-сказуемое», есть зрѣло промедитиро-
ванное сужденіе о вѣчныхъ предметахъ. Каждый образъ, который онъ
вынашиваетъ и выбираетъ для выраженія своей главной идеи, возникаетъ въ
процессѣ осторожнаго созерцанія и отвѣтственнаго сужденія. Каждое «нѣтъ и
каждое «да», которое онъ безмолвно произноситъ въ себѣ, от-
вергая одно и предпочитая другое—имѣетъ именно этотъ смыслъ.
Каждая линія и каждая краска въ его картинѣ; каждый ак-
кордъ и каждая модуляція въ его сонатѣ; каждая фраза его
романа, каждое слово въ его стихотвореніи; каждый оконный
наличникъ въ его фасадѣ; каждый жестъ его танца—есть скон-
центрированный итогъ многихъ созерцающихъ, спрашивающихъ,
провѣряющихъ и выбирающихъ сужденій, которыхъ онъ навѣр-
ное никогда не переживалъ въ сознательно-логической формѣ.
Настоящее искусство возникаетъ въ аскетическомъ процессѣ ху-
дожественнаго сужденія: художникъ обязанъ отвергать все, что
онъ переживаетъ какъ «только возможное», до тѣхъ поръ, пока
не появится предметная необходимость, по-
велеительно требующая своего признанія. Объ этомъ зналъ Лео-
нардо да Винчи, создававшій свои произведенія медленно, оты-
скивая, мѣняя, въ великомъ аскезѣ своего художественнаго суж-
денія, и оставившій нѣкоторыя изъ нихъ въ неоконченномъ ви-
дѣ. Объ этомъ знали великіе художники слова,—поэты, исправ-
лявшіе свой стихъ въ нѣсколько «этажей» (Пушкинъ) и прозаи-
ки, переписывавшіе и передѣлывавшіе свой текстъ до 8 и 9 разъ
(Гоголь). Поэтому каждый творящій художникъ призванъ ждать
и добиваться предметной очевидности и дол-
женъ творить, предаваясь аскезу въ своемъ художественномъ
сужденіи. Иначе онъ не создастъ ничего необходимаго и вѣч-

наго, ибо произведенія его останутся «игрою въ возможность», однодневными капризами, баловствомъ, предназначеннымъ для развлеченія неприхотливыхъ и скучающихъ людей, — «эстрадою для снобовъ» . . .

Тѣ же законы господствуютъ и въ этикѣ. Каждое жизненное дѣяніе является выраженіемъ многихъ сужденій, — о желаніяхъ и о долгѣ, о добрѣ и злѣ, о полезномъ и вредномъ, о приличномъ и неприличномъ, о людяхъ вообще и о данномъ человѣкѣ, о любви и ненависти, о Богѣ и о душѣ . . . Въ этомъ участвуютъ и инстинкты самосохраненія, и свѣдѣнія о цѣляхъ и средствахъ, и совѣсть, и честь, и любовь, и состраданіе, и вчувствованіе. Такъ, каждый совѣстный поступокъ есть самостоятельное сужденіе, исходящее изъ глубины сердца и рѣшающее вопросъ о самомъ лучшемъ въ жизни; и то обстоятельство, что это совѣстное сужденіе не имѣетъ зрѣло-сознательной, логической формы, дѣлаетъ его «судъ» еще болѣе отвѣтственнымъ во всей его молніеобразной непосредственности; и совсѣмъ не случайно языкъ африканскихъ негровъ передаетъ совѣстный актъ такъ: «с е р д ц е г о в о р и т ь с л о в о» . . .

Вотъ почему такъ важенъ аскезъ сужденія въ этикѣ; вотъ почему смиреніе оказывается одной изъ важнѣйшихъ «добродѣтелей познанія». Это раскрываетъ намъ также глубокое значеніе евангельскаго слова «не судите» . . . : ибо тому, кто судить людей и осуждаетъ, слишкомъ часто остается недоступной послѣдняя сердечная глубина бѣднаго грѣшника; и профессиональный судья, на котораго возложена о б я з а н н о с т ь судить, оказывается на высотѣ только тогда, если онъ постоянно старается вчувствоваться въ живое и неустойчивое правосознаніе преступника.

Такъ обстоитъ дѣло и въ политикѣ. Каждое голосованіе, каждый законъ, каждая реформа есть заключительное сужденіе, за которымъ скрываются цѣлыя цѣпи предварительныхъ сужденій. Эти исходныя сужденія, эти «предпосылки» говорятъ о самыхъ различныхъ содержаніяхъ человѣческой жизни, начиная съ религіозной вѣры, добра и зла, родины, свободы и права, и кончая прозаическими соображеніями о пользѣ и вредѣ. Строго говоря, активный гражданинъ, имѣющій право голоса, д о л ж е н ь з н а т ь в с е, все взвѣшивать, все рѣшать и нести отвѣтственность за каждое свое сужденіе. И ему остается только подумать о томъ, какъ онъ справится съ этимъ безъ предварительной и долгой школы сужденія. Поэтому Сократъ былъ совершенно правъ, когда онъ обращался къ своимъ согражданамъ съ сомнѣвающимися и испытывающими вопросами, чтобы какъ-нибудь разочаровать ихъ въ ихъ политическомъ всезнаствѣ и подвигнуть ихъ къ настоящему, отвѣтственному аскезу въ дѣлѣ сужденія. И тотъ, кто пойметъ это, тотъ навсегда откажется отъ слѣпой вѣры въ то, будто «гласъ народа есть гласъ Божій» . . .

Итакъ, аскезъ силы сужденія составляетъ настоящій и необходимый фундаментъ всей человѣческой культуры; и народное образованіе должно заботиться и неустанно бороться за

зрѣлость личнаго сужденія. Это есть необходимый путь къ воспитанію, духовной зрѣлости и мудрости.

Какое обширное, какое плодородное духовное поле открывается передъ нами въ грядущей освобожденной Россіи, гдѣ русская національная талантливость познаётъ бремя отвѣтственности и энергію дисциплины!...

9.

О художественномъ совершенствѣ.

Искусство нашихъ дней, именуемое «модернистическимъ», заблудилось среди дорогъ и ушло въ безпутство; въ этомъ и сейчасъ уже согласны всѣ истинные друзья художества, не порвавшіе со здоровымъ, сразу — духовнымъ и естественнымъ вкусомъ. Объ этомъ знаютъ особенно серьезные и великіе художники нашей эпохи. Они знаютъ, что далекое и прекрасное будущее принадлежитъ не модернизму, этому выродившемуся мнимо-искусству, созданному, восхваленному и распространяемому безпочвенными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. Послѣ великаго блужданія, послѣ тяжелыхъ мученій и лишеній — человѣкъ опомнится, выздоровѣетъ и обратится снова къ настоящему, органическому и глубокому искусству; и такъ легко понять, что и нынѣ уже глубокія и чуткія натуры предчувствуютъ это грядущее искусство, призываютъ его и предвидяť его торжество.

Кто попытается представить себѣ это грядущее искусство, тотъ долженъ прежде всего отказаться отъ идеи «неслыханнаго», «невиданнаго» новаторства, ломающаго переворота, опрокидывающаго «открытія». Вся эта погоня за новшествомъ, за небывалымъ, за «потрясающимъ», или «головокружительнымъ» — есть проявленіе духовной смуты, порожденіе безсильнаго тщеславія у автора, и у скучающихъ, ищущихъ «возбужденія» снобовъ въ публикѣ. Будущее, конечно, принесетъ намъ новое искусство; но это «новое» возникнетъ изъ обновленнаго духа и изъ глубоко-чувствующаго сердца, т. е. изъ тѣхъ слоевъ души, которые всегда задумывали и вынашивали всякое истинное произведеніе художества. Подлинная духовная глубина имѣетъ свои особыя законы, не поддающіеся субъективному произволу, и не замѣнимые никакими нарочитыми изобрѣтеніями или выдуманнѣми «конструкціями». Новое искусство принесетъ намъ новыя духовныя содержанія, а не новыя безсодержательности, не новыя пустоты и не новыя пошлости. Оно создастъ новыя формы, а не новыя безформенности, не новыя разнузданія, не новыя хаосы. Оно разрѣшитъ себѣ «многое», но ничего такого, что выходитъ за предѣлы духовной необходимости, ибо здѣсь лежитъ критерій дозволеннаго, мѣра допустимаго: въ искусствѣ вѣрно и художественно только необходимое.

Грядущее искусство будетъ опять укорененнымъ, почвеннымъ, органическимъ. Это совсѣмъ не общаетъ школьную при-

дирчивость, педанство, тяжелую походку, строгое выражение лица, скучныя поученія, обязательныя трафареты...

Нѣтъ, это указываетъ на совсѣмъ иное измѣненіе. Здѣсь имѣется въ виду не цензура содержаній и не предписанныя формы, но творческій источникъ, творческій замыселъ и творческій актъ.

Пока искусство движется по здоровымъ творческимъ путямъ, — его содержанія не нуждаются въ цензурѣ, потому что оно само собою, внутренне и изнутри осуществляетъ строжайшую и убѣдительнѣйшую цензуру, драгоценную и художественную: это цензура предметной необходимости, которая въ дальнѣйшемъ должна быть провѣрена и укрѣплена художественной критикой. Что же касается формы искусства, то ея вообще не слѣдуетъ предписывать: она совсѣмъ не должна слѣдовать какимъ бы то ни было внѣшнимъ требованіямъ, — ни публичному спросу на базарѣ, ни прямымъ указаніямъ политической диктатуры; исключеніе можетъ быть только одно: если такое требованіе совпадаетъ съ внутреннимъ голосомъ художника, но и тогда художникъ пойдетъ за своимъ внутреннимъ голосомъ, а не за постороннимъ желаніемъ «заказчика». Поэтому мы имѣемъ полное основаніе ожидать отъ грядущаго русскаго искусства — новыхъ, т. е. первоначальноподлинныхъ духовныхъ содержаній и новыхъ, т. е. предметно-оригинальныхъ формъ: это будутъ новые образы, выговоренные на «языкѣ» первоначальной подлинности и съ силою впервые рожденной формы, — въ общемъ потокъ насущнаго духовнаго питанія и благодатной радости...

Это новое искусство возникнетъ изъ перенесенныхъ русскимъ народомъ испытаній, лишеній и страданій; и совершится это потому, что въ русскихъ людяхъ обновятся источники жизни, родники творчества, самый способъ жизни и сила художественнаго созерцанія. Россія идетъ къ возрожденію здороваго художественнаго акта.

Строеніе художественнаго акта по самому существу своему свободно и предоставляется творческой силѣ самого художника. Здѣсь ничего нельзя предписывать; здѣсь нѣтъ обязательныхъ рецептовъ. Но неутомимое и вчувствующееся изученіе можетъ установить здѣсь извѣстныя отрицательныя границы, несоблюденіе коихъ ведетъ къ вырожденію искусства.

Такъ, художественный актъ, — каково бы ни было его строеніе и въ какомъ бы искусствѣ художникъ ни творилъ, — не можетъ и не долженъ получать свое направленіе и звѣкъ; иначе актъ вырождается. Художникъ не долженъ слѣдовать модѣ, она не должна ему импонировать, ибо та духовная, первоначальная глубина, гдѣ живутъ художественныя содержанія и откуда они восходятъ къ осуществленію, не знаетъ ничего о модѣ. Художникъ, будь онъ портретистъ или архитекторъ, не долженъ принимать отъ своихъ заказчиковъ никакого содержанія, развѣ только если заказывающій обыватель самъ выноситъ такое же художественное созерцаніе и вступаетъ съ художникомъ въ братскій обмѣнъ духовными дарами. Художникъ дол-

жень съ самого начала примириться съ идеей возможнаго «неуспѣха» или «провала» у публики; онъ долженъ быть готовъ къ тому, что онъ не встрѣтитъ пониманія и справедливой оцѣнки, что творчество его не дастъ ему ни радости признанія, ни прокормленія, ни дохода; и приготовившись къ такому исходу, онъ долженъ спокойно, безъ робости идти своей дорогой. Искусство не есть промыселъ, приспособляющійся къ внѣшнимъ условіямъ, къ спросу и заказу; оно есть служеніе, ориентирующееся по внутреннимъ требованіямъ, по духовнымъ звѣздамъ. И художникъ, мало зарабатывающій, непонятый и «отвергнутый» современниками — долженъ спокойно и достойно идти своей дорогой.

Дѣйствительно ему предстоитъ важное и высокое служеніе, которое онъ несетъ и совершаетъ на благо всего человѣчества: ибо онъ есть свободный и неподкупный провождѣльникъ, показующій людямъ объективно-значительныя и притомъ для многихъ сокровенныя духовныя содержанія. Въ этомъ его призваніе, которому онъ и посвящаетъ себя; въ этомъ его «должность», которую онъ свободно возлагаетъ на себя. И это призваніе предполагаетъ у него опредѣленные склонности и способности, которыя онъ долженъ имѣть или приобрести. Не каждому дано созерцать сокровенныя духовныя содержанія, развивать и укрѣплять въ себѣ это созерцаніе, слѣдовать узрѣнному отвѣтственно и въ строгомъ повиновеніи, вынашивать задуманное и изображать его въ оправданныхъ, необходимыхъ и точныхъ образахъ. А къ этому сводится главное въ искусствѣ. Искусство, которое ничего не знаетъ объ этомъ, а можетъ быть и не желаетъ знать — не есть искусство; это есть безотвѣтственная игра, баловство, или же доходный промыселъ, а можетъ быть и то и другое одновременно: авторъ кощунственно балуется и богатѣетъ (Пикассо). Бороться съ такими промышленниками трудно; устранить ихъ изъ жизни совсѣмъ можетъ быть даже невозможно. Но если такія затѣи начинаютъ вытѣснять художество или замѣнять его, тогда искусство вступаетъ въ критическій періодъ, въ эпоху упадка: оно отрывается отъ своего призванія и отъ своего главнаго назначенія.

Настоящій художникъ отправляетъ духовное служеніе. Онъ совсѣмъ не призванъ развлекать публику, увеселять ее или угождать ей. Онъ призванъ созерцать «внутреннее», вслушиваться въ него, служить ему и повиноваться, погружаться въ него и творить изъ него, сообщать и возвѣщать о немъ. Торговать и торговаться — не его дѣло. Онъ долженъ какъ бы заклипать въ самомъ себѣ «духа земли». Онъ долженъ находить то «пространство», гдѣ живутъ духовныя содержанія, вступать въ него и почерпать въ немъ предметныя медитаціи. Онъ долженъ поставить себя въ распоряженіе Божьяго дѣла, его сокровенной борьбы и его творческихъ страданій — и приобщиться этой борьбѣ и этимъ страданіямъ черезъ отождествленіе съ ними. Чѣмъ отвѣтственнѣе онъ совершаетъ при этомъ свое служеніе, тѣмъ глубже

становятся его медитаціи; чѣмъ полнѣе онъ отводитъ и исключаетъ свой собственный произволъ, тѣмъ болѣе предметными, истинными и художественными оказываются его «про-ричанія»; чѣмъ сосредоточеннѣе и строже становится его внутренняя дисциплина, тѣмъ благоуханнѣе и «слаще» становится «медь» его искусства.

Но для этого ему нужна вся та внутренняя и виѣшняя свобода, которая вообще доступна человѣку. Ему необходима свобода, чтобы достойно нести свою одинокую отвѣтственность и сполна осуществлять тѣ требованія, которые ставить ему художественное творчество. Никакая цензура не можетъ дойти до источниковъ его творчества; и только конгеніальный ему критикъ можетъ сказать ему впослѣдствіи, справился ли онъ со своею отвѣтственностью... Чтобы разрѣшить эту задачу, художникъ долженъ быть свободнымъ и блюсти свободу въ своей «лабораторіи», — въ созерцаніи, сужденіи, выборѣ, оформленіи; а, слѣдовательно, и въ линіяхъ, въ краскахъ, въ звукахъ и въ тональностяхъ, въ словахъ и жестахъ, превращая ихъ въ живые и насыщенные символы «Главно-Сказуемаго»... Онъ долженъ быть субъективно свободенъ, чтобы уловить и выразить объективную необходимость; ибо въ искусствѣ есть такая, особенная, внутренне постигаемая объективная необходимость, къ которой и сводится сущность дѣла.

Эта особенная необходимость составляетъ критерій всякаго настоящаго искусства. Если художникъ постигнетъ ее изъ глубины и осуществить ее цѣлостно, то произведеніе его получить ту замѣчательную «убѣждающую» силу, ту зрѣлую законченность, ту власть давать людямъ удовлетвореніе и счастье, по которымъ узнается совершенное искусство.

Каждый настоящій художникъ носитъ въ себѣ внутреннее чувство или даже сознательное убѣжденіе, что въ процессѣ творчества ему не все позволено, что многого онъ просто «не смѣетъ», что выборъ темы, отборъ «матеріала» и оформленіе его не предоставлены на усмотрѣніе его произвола или его тщеславія: что онъ на все долженъ имѣть духовное право и предметное основаніе. Вотъ такъ, какъ однажды Пушкинъ, негодуя на безвкусную и уродливую «поправку» цензора въ его стихѣ, восклицалъ: такъ «я не властенъ сказать, я не долженъ сказать, я не смѣю сказать!» Художнику на все необходимо художественное полномочіе; онъ отвѣчаетъ за все созданное имъ, хотя нерѣдко онъ, отвергая, не можетъ обосновать словами свое отверженіе, а утверждая, умѣетъ только настаивать на вѣрности, предметности и необходимости избраннаго... Но дѣло не въ словесныхъ доказательствахъ, а въ категорическихъ «показаніяхъ» внутренняго художественнаго опыта.

Это исканіе художественной необходимости и духовнаго права въ творествѣ составляетъ самую основу настоящаго искусства. Оно, конечно, очень затрудняетъ работу, но зато приводитъ ее на настоящій уровень. Этимъ какъ

бы отрѣзаются безчисленныя возможности въ выборѣ: онѣ сами отпадаютъ, ибо обнаруживаютъ свою несостоятельность. Наивному новичку, не знающему ничего объ отвѣтственности, можетъ, правда, казаться, что онѣ «все можетъ» и «все смѣетъ»: «ему нравится» — «значить хорошо»; онѣ готовы принимать въ серьезъ всякую свою выдумку: онѣ воображаютъ, что всякая субъективная «навязчивая идея» создается художественнымъ вдохновениемъ и что все, что доставляетъ ему удовольствіе — «замѣчательно». Но настоящій художникъ знаетъ, что нужно предметное основаніе и художественное право; что надо повиноваться художественной совѣсти. Онѣ знаетъ, что онѣ «смѣетъ» закрѣплять только то, что вѣрно и необходимо; онѣ знаетъ, что, если нѣтъ этого чувства «смѣю», то это значить, что онѣ «не смѣетъ». Поэтому его свободное творчество связано: оно состоитъ въ томъ, что онѣ, созерцая и вопрошая, ищетъ этой художественной связанности, этой духовной необходимости. Онѣ становится только тогда увѣреннымъ и спокойнымъ, когда его чувство «такъ я смѣю» крѣпнеть и превращается въ чувство «именно такъ я обязанъ и иначе я не смѣю». . . Дѣло не въ томъ, что «можно» провести эту линію, наложить эту краску, ввести эту модуляцію, употребить это словесное выраженіе, но въ томъ, что «только это и нужно», «именно этого и не хватало» и «обойтись безъ этого невозможно», ибо именно это соотвѣтственно и точно. Художественно-Сказуемое — требуетъ именно этого и требованіе его должно быть выполнено. Художникъ не смѣетъ иначе; поэтому онѣ и не желаетъ иначе; поэтому онѣ иначе и не можетъ. Тогда онѣ чувствуетъ себя увѣренно; тогда на него нисходитъ спокойствіе. Ибо онѣ создавалъ не по своему личному произволению, но повиновался внутренней необходимости, которая предъявляла свои требованія и которой онѣ радостно повиновался.

Каждый серьезный художникъ, погружаясь въ свои «темы» и «образы», старается уловить въ своемъ внутреннемъ мірѣ эту предметную необходимость, слѣдовать ей и соблюдать ее. Каждая линія, проводимая имъ, остается для него «проблематичной», «простой возможностью и не болѣе того», до тѣхъ поръ, пока онѣ не начнетъ ощущать ее, какъ нѣчто «строго соотвѣтственное», «точное», «органически-живое», «прочно-врастающее». «Соотвѣтственное» чему? «Точно» выражающее какой предметъ? «Прочно-врастающее» въ какой «живой организмъ»? На эти вопросы ему, можетъ быть, трудно отвѣтить, но этихъ словесныхъ отвѣтовъ отъ него не слѣдуетъ и требовать. Важно то, что его внутренний опытъ недвусмысленно и достоверно сообщаетъ ему, что онѣ уловилъ «необходимое» и «единственно-точное» и что проведенная имъ черта соотвѣтствуетъ нѣкоторому важному и рѣшающему, хотя и сокровенному содержанію; это значить, что она «вѣрна», «обоснована», что она отличается таинственной, но совершенно очевидной «точностью» (любимое выраженіе Пушкина). . . Тогда найденное подобно прочно-лежа

щему камню въ болотѣ, на который можно стать и опереться, чтобы нащупывать и отыскивать дальнѣйшій путь.

Это «ощущеніе» органической необходимости въ художественномъ творчествѣ отнюдь не есть ни призракъ, ни самообманъ; напротивъ, ему присуще чрезвычайное, опредѣляющее значеніе. Когда человѣкъ работаетъ напр. надъ дешифрованіемъ непонятнаго текста, то ему приходится имѣть дѣло съ предположеніями и неувѣренными догадками до тѣхъ поръ, пока онъ не почувствуетъ, что вступилъ въ потокъ живого, связаннаго, единаго смысла; тогда у него дѣлается увѣренность, что онъ не выдумываетъ ничего своего, субъективнаго, но вѣрно улавливаетъ то, что объективно скрыто въ разбираемой имъ криптограммѣ. Подобно этому настоящій художникъ старается уловить сокровенное содержаніе художественнаго замысла, выразить его — соотвѣтственно, точно, «адекватно» — въ образахъ и «изложить» въ словахъ, звукахъ, краскахъ, жестахъ или камняхъ. При этомъ онъ несетъ въ себѣ увѣренное и подлинное чувство, что онъ творитъ не изобрѣтая, а какъ бы воспроизводя нѣчто подлинно существующее, или же что вся его изобрѣтательная способность направлена на вѣрное отображеніе объективно предстоящаго ему «предмета». И когда онъ, закончивъ свое произведеніе, показываетъ его или выставляетъ, то у него иногда бываетъ смутное чувство, что нѣкоторыя «мѣста», или «линіи», или «словесные обороты», или «плоскости», «краски», «модуляціи» его произведенія — не совсѣмъ закончены, не окончательно обоснованы, не вполне «предметны» или недостаточно точны. Тогда онъ начинаетъ внимательно прислушиваться къ критикамъ и сразу замѣчаетъ, кто изъ нихъ говоритъ изъ предметнаго созерцанія, уловивъ художественную необходимость въ его произведеніи, и кто изъ нихъ, напротивъ, застрялъ во внѣшностяхъ снобизма, въ условностяхъ отвлеченной формы, въ аутистическихъ выдумкахъ и потому идетъ въ своихъ разглагольствованіяхъ мимо главнаго. Онъ умѣетъ благодарно цѣнить скромныя, изслѣдующія замѣчанія истинныхъ критиковъ: онъ чувствуетъ себя понятымъ, польщеннымъ, онъ провѣряетъ себя этими замѣчаніями и нерѣдко «соглашается»; критикъ оказывается его цѣнителемъ, другомъ и помощникомъ... А къ самодовольному разглагольствованію мимо-взирающихъ рецензентовъ онъ относится съ пренебреженіемъ, хотя и знаетъ, что именно эта болтовня нерѣдко влияетъ на публику и руководитъ ея мнѣніемъ. Именно это послѣднее имѣлъ въ виду Л. Н. Толстой, когда онъ однажды съ тихимъ юморомъ вымолвилъ: «критика — это когда глупый человѣкъ пишетъ объ умномъ»...

Въ каждомъ произведеніи искусства надо различать три слоя, какъ бы три слоя, причемъ эти слои не расположены одинъ надъ другимъ, а открываются одинъ за другимъ: отъ поверхности въ глубину. Можно было бы выразить это и иначе: здѣсь есть центральное, главное «ядро», заключенное какъ бы въ двѣ «скорлупы», такъ, что «ядро» пронизываетъ обѣ скорлупы своими лучами, и что внутренняя скорлупа можетъ быть воспринята только черезъ посредство внѣшней. Но

это описаніе даетъ только указаніе, только намекъ на художественную правду.

Внѣшній слой искусства («первую скорлупу») можно было бы обозначить какъ «эстетическую матерію»: таковы слова и фразы въ литературѣ; линіи и краски въ живописи; слышимые звуки въ музыкѣ; камень, дерево, маталлъ въ скульптурѣ и архитектурѣ; тѣло танцующаго, его одежда и обстановка въ балетѣ. И вотъ, чувственно уловимый матеріаль искусства имѣетъ свои собственные законы, напримѣръ: фонетическія, грамматическія, стилистическія и орфографическія правила въ литературѣ; физическіе, математическіе и акустическіе законы въ музыкѣ; естественныя свойства камня, дерева и металла въ скульптурѣ и архитектурѣ; физиологическіе, анатомическіе, психологическіе и духовные законы, владѣющіе человѣческимъ тѣломъ — въ танцѣ. Эти правила и законы должны быть соблюдены для того, чтобы произведеніе искусства художественно удалось. Фонетическое безобразіе, грамматическій хаосъ, стилистическая безпомощность и безсвязность могутъ погубить стихотвореніе. Нечистые, фальшивые звуки, не сопринадлежащіе, монотонные аккорды съ параллельными ходами могутъ испортить любое музыкальное произведеніе. Противоестественныя, искусственно-выдуманныя, тяжелыя, акробатически-вымученныя, невыразительно-мертвыя движенія въ танцѣ — могутъ сдѣлать его фальшивымъ и художественно-невыносимымъ. . .

Но эти необходимыя, элементарныя, азбучныя законы чувственной матеріи не являются ни высшими, ни послѣдними законами искусства. Есть другіе, важнѣйшіе и опредѣляющіе законы — и отъ нихъ можетъ изойти «премѣненіе» для низшихъ законовъ: они могутъ властно потребовать алитерации, или безстильности, или безсвязности въ словахъ; дребезжащихъ или монотонныхъ звуковъ въ оркестрѣ; безвкуснаго сочетанія красокъ или «обратной перспективы» въ живописи; безобразныхъ, вымученныхъ движеній въ танцѣ. . . Такъ Римскій-Корсаковъ, великій и безошибочный знатокъ гармоніи, пишетъ Мусоргскому о его «Ночи на Лысой горѣ»: «Величаніе Сатаны должно быть непремѣнно зѣло паскудно и потому всякая гармоническая и молодическая погань позволительна и умѣстна» (см. Мусоргскій. «Письма и документы», стр. 454). Унисонъ справедливо считается скучнѣйшимъ видомъ музыкальнаго звучанія; но Бородинъ, изображая азіатскій примитивъ татарскаго ига, ведетъ его тему во властномъ сокрушительномъ унисонѣ (первая часть знаменитой Второй Симфоніи). . . И такъ обстоитъ во всѣхъ видахъ искусства: законы эстетической матеріи подчиняются Главно-Сказуемому. Пушкинъ, геніальный мастеръ легчайшаго стиха, ставитъ, когда надъо, такія строки: «Бой барабанный, крики, скрежетъ, — Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ». . . Или еще: «Въ молчаньи правилъ грузный челнъ». . .

Осязаемая матерія искусства совсѣмъ не есть важнѣйшее въ искусствѣ; она не есть нѣчто самодовлѣющее и ее нельзя трактовать, какъ «самостоятельное» тѣло художества. Напротивъ: она есть нѣчто вторичное, служебное, повинное послушаніемъ выс-

шему смыслу произведенія. Эстетическая матерія является «носителемъ», «орудіемъ» или «знакомъ» того художественнаго содержанія, которое должно быть «высказано» или «показано». Этот носитель долженъ быть на высотѣ выражаемаго содержанія, онъ долженъ соотвѣтствовать ему. Орудіе должно быть послушнымъ. Знакъ долженъ быть выразительнымъ и содержательно насыщеннымъ. Власть надъ нимъ имѣтъ эстетическое содержаніе (т. е. художественный образъ и говорящій черезъ него художественный предметъ). То главное, что художникъ «сказуетъ» (или «показываетъ», или «знаменуетъ»), — властвуетъ надъ эстетической матеріей, властно выбирая слова, краски, звуки, плоскости, жесты и массы вещества. И въ «матеріи» только то является художественно-вѣрнымъ, что потребовано «Сказуемымъ».

Поэтому въ произведеніи искусства эстетическая матерія должна возникать изъ содержанія, имѣя въ немъ свое оправданіе и основаніе. Художественно только содержательно-необходимое. Совершенно здѣсь только то, что выразительно, въ своей выразительности точно, въ своей точности прозрачно, и потому необходимо; — что экономить силу, время и вниманіе, и вѣрно ведетъ къ главно-сказуемому даннаго произведенія. Вся эстетическая матерія должна стоять въ распоряженіи главно-сказуемаго, обнаруживая величайшую покорность, готовность и гибкость; она должна чутко приспособляться и видоизмѣняться, не отрекаясь отъ своихъ собственныхъ законовъ, но находя въ нихъ новыя, можетъ быть, небывалыя формы.

Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть показуемый и воспринимаемый эстетическій образъ. Это есть то воображаемое художникомъ «обличіе» или «очертаніе», которое подыскиваетъ себѣ матерію, для того, чтобы воплотиться въ ней и «излучаться» изъ нея и черезъ нее. Эстетическій образъ можетъ имѣть чувственную природу: таковы обличія матеріальныхъ вещей — бабочка, цвѣтокъ, дерево, домъ, ландшафтъ; но онъ можетъ имѣть и нечувственную природу: таковы душевное настроеніе, напр. «Меланхолія» Грига, или человѣческій характеръ, напр. «князь Мышкинъ» у Достоевскаго, или духовная борьба людей, напр. Брутъ и Цезарь у Шекспира. А въ музыкѣ «образомъ» является музыкальная тема, во всей ея индивидуальности, видоизмѣняемости и судьбѣ, въ ея общеніи съ другими темами даннаго произведенія.

Всѣ эти эстетическіе образы имѣютъ свои особые законы: каждый образъ долженъ явиться, какъ нѣчто подлинно-объективное, правдоподобное, созерцательно-убѣдительное, индивидуально-внутренне-единое, самому-себѣ-вѣрное, законченное, органически-связанное съ другими образами и т. д. Расплывчатые, неясно показанные, неразличимые, плохо ракурсированные, противоестественные, неправдоподобные, въ воспріятіи неубѣдительные, дробящіеся чувственные образы — характерны для плохого искусства; незрѣло выношенные, невыкристаллизовавшіеся, мало индивидуализированные, смутные человѣческіе характеры,

которые выводятся въ психологически неестественныхъ жизненныхъ положеніяхъ, произносятъ искусственныя, аффектированныя слова и совершаютъ духовно необоснованныя, неестественныя поступки, — создаются плохими художниками и относятся къ дурному, нехудожественному искусству. Все это оказывается художественно фальшивымъ, непріемлемымъ; все это разочаровываетъ, утомляетъ и проваливается.

Но законы второго «слоя» тоже не самостоятельны, не самодовольщи и не являются высшей инстанціей. Въ каждомъ произведеніи искусства весь строй образовъ подчиненъ опять-таки высшему и важнѣйшему «слою» — главной идеѣ произведенія, «Главнo-Сказуемoму», Художественнoму Предмету и оказывается его вѣрнымъ и необходимымъ орудіемъ.

Все дѣло именно въ этомъ третьемъ, глубочайшемъ «слоѣ», въ томъ «главнѣйшемъ-важнѣйшемъ», что составляетъ «ядро» или «зерно» произведенія; ради его художественнаго «произнесенія», ради его «прикровеннаго показанія» все зачинается, вынашивается и творится. Всѣ эстетическіе образы должны быть выращены изъ него, развертывая его содержаніе, повинувшись его ритму, выражая его идею и волю. «Слой» эстетическихъ образовъ долженъ ясно, точно и экономно выражать художественный предметъ произведенія; онъ долженъ служить предмету въ качествѣ вѣрной и прозрачной среды, чтобы предметъ свѣтился и воспринимался черезъ него съ очевидностью, скрываясь за нимъ и открываясь черезъ него. Поэтому всѣ образы даннаго произведенія — романа, драмы, картины, сонаты, симфоніи, скульптуры, балета, — должны стоять въ распоряженіи художественнаго предмета, въ подчиненіи ему, оказывая ему величайшую готовность, уступчивость, гибкость и выразительность.

Это настоящее «ядро» произведенія, этотъ сущій и глубочайшій центръ его, къ которому все сводится, ради котораго все дѣлается и творится и безъ котораго все распадается — есть основная концепція художника, его сокровенный «замыселъ», который привелъ его творчество въ движеніе. Именно онъ, этотъ предметный «замыселъ», задуманный не мыслью и не произвольнымъ хотѣніемъ, но зачатый въ сферѣ той безсознательной духовности, которая присуща каждому изъ насъ, — именно онъ подыскиваетъ себѣ необходимые образы и вѣрную чувственную матерію. Онъ есть тотъ «духовный цвѣтокъ», который художникъ увидѣлъ въ просторахъ духа; этотъ цвѣтокъ плѣнилъ его и онъ взялъ его съ собою, чтобы подобрать для него художественное одѣяніе и показать его въ такомъ видѣ другимъ людямъ. Этотъ духовный цвѣтокъ можно было бы обозначить какъ «идею», но съ тѣмъ, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической формы: ибо эта «идея» постигается и рраціoнальнoмъ сердце-сoзepцaніeмъ, которое не слѣдуетъ смѣшивать съ обычной мыслью; это есть, если угодно, «мысль», но въ смыслѣ духовной медитаціи; это есть «созерцаніе», но осуществляемое не чувственными силами

души, а сердцемъ, лучъ котораго постигаетъ, плѣняется и «береть съ собою».

Этотъ «духовный цвѣтокъ» не есть субъективная выдумка или чисто личная химера художника. Онъ есть реальность, духовная сущность. Его можно было бы обозначить какъ духовный «первообразъ», или какъ живой способъ бытія, какъ классическое, каждому человѣку доступное жизненное состояніе. Это жизненное состояніе переживается самимъ художникомъ, созерцается имъ и становится его предметомъ. Онъ находитъ его въ Богѣ, въ человѣкѣ или въ природѣ вещей. Есть такія первособразныя состоянія, которыя онъ находитъ только въ Богѣ — напр. «совершенство», «несотворенность», «вѣчность», «благодать», «неисчерпаемая милость»; или — въ Богѣ и въ человѣкѣ: «любовь», «прощеніе», «доброта», «безсмертіе»; или только въ человѣкѣ, напр. «грѣхъ», «совѣсть», «молитва», «страстное бореніе», «искушеніе», «ненависть», «пошлость», «зависть», «преступленіе», «раскаяніе»; или — въ Богѣ, въ человѣкѣ и въ природѣ, напр. «свѣтъ», «покой», «творчество», «страданіе»; или только въ природѣ и въ человѣкѣ, напр. «сонъ», «жажда», «засыханіе», «расцвѣтаніе», «отцвѣтаніе», «наслажденіе»... Все это можетъ открываться художнику то статически, то динамически, то въ великой простотѣ, то въ чрезвычайной сложности, то въ молчаніи, то въ плѣни, то въ единичности, то во множествѣ, то намекомъ, то бурею. Что именно изъ этихъ «первообразовъ» или «первичныхъ состояній» художникъ увидитъ, чѣмъ онъ плѣнится, что выберетъ, — въ этомъ онъ свободенъ. Но каждый такой «предметъ» онъ долженъ подлинно пережить; онъ долженъ быть «взятъ имъ въ плѣнъ»; онъ долженъ пройти черезъ нѣкую «одержимость» имъ, чтобы начать вѣрно говорить изъ него и художественно показывать его. Такой духовный опытъ отнюдь не является его «монопольей»; онъ доступенъ каждому человѣку, способному вообще къ духосозерцанію: каждому наивному обывателю, въ особенности же призванному художественному критику, который долженъ быть способенъ — воспринимать каждое произведеніе искусства въ его цѣльномъ составѣ и во всѣхъ его необходимыхъ «слояхъ» и частяхъ.

Согласно этому, каждое произведеніе искусства какъ бы хочетъ сказать человѣку: «впусти меня въ духъ твоей души, переживи меня цѣльно, дай мнѣ состояться въ твоёмъ внутреннемъ «пространствѣ», въ твоей жизненной ткани; я подарю тебѣ счастье, а можетъ быть и муку; я дамъ тебѣ углубленіе и озареніе, постиженіе и очищеніе, видѣніе и умудреніе»... Или иначе: «возьми меня съ собою, я несу тебѣ мудрость и просвѣтленіе»... Или еще иначе: «здѣсь тебя ожидаетъ новая духовная медитація, показанная въ образахъ, прими ее и унеси ее въ жизнь»... И человѣкъ, который дѣйствительно восприметъ такое произведеніе искусства и промедитируетъ скрытую въ немъ медитацію, приобщится черезъ его «матерію» и черезъ его «образы» къ скрытому въ нихъ «духовному цвѣтку».

Таковъ смыслъ подлиннаго искусства; въ этомъ его сущность и призваніе: оно призвано нести людямъ истинный

ароматъ духа. Художникъ не призванъ «поучать» и «проповѣдовать»; онъ не смѣетъ становиться тенденціознымъ и навязывать людямъ какую-нибудь доктрину. Онъ призванъ самъ цвѣсти среди цвѣтовъ духа, естественно, непредназначенно (*desinvolto*), органически и съ нѣкой таинственной, легкой, побуждающей властью; — цвѣсти и дарить людямъ подлинный, чудесный и очистительный ароматъ своихъ духовныхъ цвѣтовъ.

Такъ обрѣтается критерій художественности: такъ узнается совершенное произведеніе искусства. Если выразить этотъ критерій въ видѣ требованія, то мы должны будемъ сказать:

Художникъ! Будь вѣренъ законамъ эстетической матеріи. Эти законы ты долженъ знать и соблюдать, а матеріей ты долженъ владѣть вполне. Только тогда ты сумѣешь точно и совершенно приспособить матерію твоего произведенія къ требованіямъ эстетическаго образа и художественнаго предмета.

Будь вѣренъ также и законамъ эстетическаго образа. Ты долженъ вѣрно постигнуть своеобразие этихъ «существъ» и вполне овладѣть ими. Только тогда ты сумѣешь оформить весь хороводъ созерцаемыхъ и показываемыхъ тобою образовъ — въ строгомъ и выразительномъ соотвѣтствіи съ твоимъ основнымъ замысломъ, съ твоей предметной медитаціей, съ ея духовнымъ цвѣткомъ...

А чтобы возымѣть основной замыселъ, чтобы постигнуть художественный предметъ, — ты долженъ уйти въ глубину сердечнаго созерцанія и спросить изъ своего созерцающаго сердца Бога, міръ и человѣка о тайнахъ ихъ бытія. Погрузись въ эту духовную глубину, какъ въ нѣкое море, и вернись изъ нея съ жемчужиной. Затеряйся въ блаженныхъ пространствахъ духовнаго опыта и принеси оттуда самый лучший цвѣтокъ. И соблюди въ своемъ творествѣ вѣрность этой жемчужинѣ, или этому цвѣтку. Только тогда ты узнаешь, какъ и чѣмъ живетъ «предметно одержимый» художникъ; только тогда ты сможешь создать адекватные предмету образы и точную эстетическую матерію: давай необходимое и только необходимое! только предметно укорененное! и ничего лишняго, ничего чрезмѣрнаго! только такое, черезъ которое свѣтитъ и сіяетъ самъ первообразъ предмета!»

Вотъ правило, вотъ критерій художественно-совершеннаго искусства. И въ будущемъ — русскій народъ, пробужденный и очищенный посланными ему небывалыми страданіями, снова вступить на этотъ великій, классическій путь своихъ великихъ художниковъ и начнетъ опять создавать новое и прекрасное искусство.

10.

Борьба за академію.

Одно изъ самыхъ тяжелыхъ и опасныхъ наслѣдій революціи въ Россіи состоитъ въ утратѣ истиннаго академическаго уровня. Высшія учебныя заведенія, и университеты въ особенности, были съ самаго начала отданы въ жертву вождѣлнїямъ и претензіямъ революціонной среды. Ихъ самостоятельность была осмѣяна и попорана; отборъ личныхъ силъ и выработка программъ были изъяты изъ вѣдѣнія ученыхъ и переданы въ руки неучей; и по мѣрѣ того, какъ тоталитарное государство упрочивалось, вся академическая жизнь — изслѣдованіе, преподаваніе, критика и оцѣнка трудовъ, духъ и направленіе познающей воли — все было подавлено, искажено и снижено. Академія была превращена въ «техникумъ революціи»; ученые были поставлены на колѣни и наука въ ея истинномъ значеніи должна была уйти въ нелегальное подполье. Этому извращенію и униженію придетъ однажды конецъ, и Россія возстановитъ свой академическій духъ и уровень.

Что же такое есть академія? Въ чемъ ея призваніе? Чему должны служить ученые для того, чтобы уровень университета былъ на истинной высотѣ?

Академія есть в ы с ш а я с т у п е н ь въ образованіи и воспитаніи человѣка; и этимъ уже опредѣляется ея сущность и своеобразіе. Ибо предшествующія ей ступени только подготовляютъ человѣка къ послѣдней и высшей.

Н и з ш а я школа научаетъ человѣка чтенію, писанію и пониманію прочтеннаго; она учитъ ребенка собирать свое вниманіе, овладѣвать своей памятью и сосредоточиваться въ указанномъ направленіи. Хорошій наставникъ непременно позаботится еще и о томъ, чтобы пробудить въ ребенкѣ духовность его инстинкта, — доброту, совѣсть, достоинство, религіозную вѣру, національное чувство и правосознаніе . . .

С р е д н я я школа учитъ человѣка усвоивать указанный ему познавательный матеріалъ и технически владѣть имъ: пониманіе должно стать активнымъ размышленіемъ, горизонтъ ребенка долженъ годъ отъ года становиться все шире, память должна укрѣпляться и обогащаться. Но авторитетъ преподавателя остается руководящимъ: отъ него исходятъ разъясненія, указанія, уроки, задачи и упражненія. Преподаватель какъ бы становится между ученикомъ и предметомъ въ качествѣ посредника и рассказываетъ ему изъ предмета и о предметѣ столько, сколько онъ признаетъ необходимымъ и посильнымъ, провѣряя вниманіе ученика, его память и усвоеніе. Онъ сообщаетъ ученикамъ

правила и приемы мышления, упражняет их в применении этих правил, исправляет их ошибки и дает им указания. Тем самым он как бы пробуждает и укрепляет («повивает») силу суждения у своих учеников, приучая ее к верной направленности и дисциплине, но оставляя ее до поры до времени в подчиненном состоянии. Талантливый преподаватель наверняка позаботится еще и о том, чтобы пробудить в учениках интерес к своему предмету, зажечь в них любовь к нему и жажду познания; он вложит в преподавание столько искреннего огня, что ученики, сами того не замечая, начнут жить активной силой суждения, — слагать свои собственные вкусы, воззрения и убеждения; а главное — укреплять и применять духовность своего инстинкта.

И все это составляет только подготовку к высшему образованию, к академии: там — все меняется.

Академия обращается не к ребенку и не к подростку, а к умственно созревшему человеку: она воспитывает его к самостоятельному бытию и мышлению. Конец школьным схемам, пассивно воспринимаемым трафаретам, обязательным приемам и непрерывному контролю! Начинается самостоятельность духа, познания и мысли... И к этой самостоятельности должно вести академическое преподавание. Естественно, что на младших курсах эту самостоятельность надо будить и укреплять («повивать») — советами и разъяснениями, сообщением известных приемов и умений; но на старших курсах студент должен пытаться мыслить и познавать самостоятельно.

Этим академическое преподавание отличается от уроков гимназии по самому существу своему. Здесь совершается не наполнение памяти, не усвоение понятия и не только техническое упражнение мысли. Здесь дело идет об укреплении и углублении силы суждения; здесь сообщается умение самостоятельно подходить к предмету, воспринимать его и изследовать. И на этом должно сосредоточиваться академическое преподавание.

Ошибочно, слепо и печально поступают те профессора, которые и в университетах практикуют гимназический способ обучения, применяя его только к другим, более трудным и сложным содержаниям. У них академия просто не составляет и не осуществляется: они сами не переросли гимназию и в университет им, строго говоря, делать нечего. И академические экзамены совсем не призваны к тому, чтобы замучивать студенческую память и авторитетно контролировать навязанное мышление. Академия учить предметной мыслью и предметному изследованию; и академический экзамен должен проверять не память, а силу суждения и умение ориентироваться в неизследованном и неизвестном...

Академия воспитывает человека к духовной и интеллектуальной самостоятельности, к активному наблюдению и мышлению, к изследованию и,

значить, къ духовной свободѣ. Подготовка заканчивается. Экзамень «зрѣлости» зданъ и молодой человѣкъ «созрѣлъ». Теперь онъ можетъ приступить къ настоящему развитію своей силы сужденія. Ему предстоитъ непосредственная встрѣча съ предметомъ, творческое упражненіе въ самостоятельномъ испытываніи и изслѣдованіи. И какъ хорошо, если онъ приобщился къ начаткамъ этой самостоятельности еще въ гимназіи, если онъ вступаетъ въ академическую аудиторію, какъ духовно заинтересованный, какъ ищущій самостоятельности человѣкъ . . .

То, что академія должна дать ему, есть именно непосредственная встрѣча съ предметомъ, умѣніе организовывать эту встрѣчу и вѣрно обходиться со своимъ объектомъ,—будь это матеріальный міръ или душевное явленіе, математическая величина или функція, живое слово въ филологіи, трудно уловимое событіе исторіи, вѣрно испытанное право въ юриспруденціи или духовное обстояніе въ философіи. Юный академикъ долженъ научиться самостоятельно и непосредственно воспринимать свой предметъ, находить его, выдѣлять его, переживать его, созерцать и изслѣдовать. А опытный академикъ долженъ постараться передать ему это умѣніе. Доцентъ университета призванъ становиться между слушателемъ и предметомъ именно для того, чтобы вызвать ихъ вѣрную жизненную встрѣчу, чтобы показательно организовать это творческое воспріятіе и вслѣдъ за тѣмъ исклѣчить себя и сомкнуть разлученное. Онъ какъ бы беретъ студента за руку и ведетъ его къ источнику, чтобы показать ему, какъ этотъ источникъ въ дѣйствительности выглядит, какъ его надо находить, какъ съ нимъ обходиться и какъ надо черезъ источникъ доходить до самаго предмета; именно въ силу этого такъ называемыя «практическія занятія» или «просеминаріи» и «семинаріи» имѣютъ въ университетскомъ преподаваніи особенное значеніе, вводя студента въ научную лабораторію.

Академическое мышленіе начинается съ непосредственного опыта; академическое познаніе черпаетъ изъ источника; академическое изслѣдованіе есть самостоятельное переживание изслѣдователя, отвѣтственная борьба за истину, критическое толкованіе, упражненіе (аскезъ) силы сужденія, искусство доказывать и показывать. Въ этомъ слагается личное «воззрѣніе» и «убѣжденіе», выросшее изъ лично-пережитой очевидности. Академія должна сообщать человѣку искусство отвѣтственности, одинокаго мышленія,—искусство мыслить изъ самаго предмета, силу цѣлостнаго созерцанія (интуиціи) и строгаго аналитическаго наблюденія (индукціи). Безпочвенное мышленіе есть злоупотребленіе мыслью, свойственное не образованности; дедуктивное мышленіе есть опасное орудіе полуобразованности; — и то, и другое должно быть преодолено. Академія не устанавливаетъ «догматовъ»: она вопрошаетъ, ищетъ и изслѣдуетъ; она не ставитъ запретовъ и не ведетъ къ застою: она живетъ динамически и творчески: но

ея динамика—от вѣтственная и осторожна, она испытуетъ, сомнѣвается и провѣряетъ.

Однимъ словомъ—академія осуществляетъ «методъ» и воспитываетъ къ «методу». Методъ есть первоначально греческое слово; оно обозначаетъ путь къ цѣли; въ познаніи—борьбу за истину. И академія есть именно школа самостоятельной борьбы за истину. Всю свою жизнь научный изслѣдователь борется съ самимъ собою, чтобы приобрести необходимую чистоту, зоркость и гибкость духа;—съ предметомъ, чтобы его испытать, увидѣть и изобразить; съ языкомъ, чтобы вѣрно овладѣть имъ и приспособить его. Онъ борется изъ-за истины, чтобы дѣйствительно пережить ее, закрѣпить и выразить.

Этимъ сказано многое, можетъ быть — все.

Теперь должно быть понятно, почему мы утверждаемъ, что академія воспитываетъ человѣка къ свободѣ: ибо свобода есть отвѣтственная, творческая самостоятельность человѣка. Но именно поэтому академія можетъ существовать только въ атмосферѣ свободы и творить только изъ свободы. Это не свобода произвола, и злоупотреблять ею нельзя. Это есть свобода отъ всякихъ постороннихъ требованій, отъ всякихъ чужеродныхъ наукъ ограниченій, отъ всякаго чело-вѣческаго давленія на совѣсть и на умъ изслѣдователя, отъ всякаго политическаго и соціального угодничества. Это есть внѣшняя свобода, при внутренней связанности. Всякія внѣшнія вмѣшательства отвергаются для того, чтобы можно было строго слѣдовать требованіямъ предмета и изслѣдовательской совѣсти. Поэтому это есть освобожденіе отъ чело-вѣческихъ претензій, ради служенія божественному дѣлу совѣстнаго познанія. Таковъ смыслъ академической свободы.

Вотъ почему академія вся цѣликомъ держится на чувствѣ отвѣтственности; атмосфера, необходимая ей, есть атмосфера методически-воспитанной, искренно-честной и совѣстно-провѣренной воли къ истинѣ. Но надо признать, что и чувство отвѣтственности, и воля къ истинѣ возникаютъ не только и не просто изъ академическаго духа, но особенно изъ духа живой религіозности. Воспитывая человѣка въ свободѣ и приучая его къ внутренней дисциплинѣ, воспитывая его къ самостоятельности и приучая его къ самопреодоленію, академія требуетъ отъ него победы надъ аутизмомъ,*) надъ произволомъ и надъ тщеславіемъ, и приобретаетъ того истиннаго смиренія которое присуще настоящему ученому.

Всю свою жизнь ученый стоитъ передъ великою тайною видимаго и невидимаго міра, передъ безконечной глубиной и сложностью Богомъ созданнаго Предмета, — и созерцаетъ эту живую тайну и глубину и старается воспринять ее и изслѣдовать. Чѣмъ выше и значительнѣе чело-вѣческій духъ, тѣмъ боль-

*) Аутизмъ (отъ греч. *αὐτός* самъ) состоитъ въ преобладаніи субъективно-личнаго произвола надъ духовно-предметнымъ элементомъ жизни.

ше его благоговѣніе и его смиреніе. Чѣмъ проницательнѣе его взоръ, тѣмъ искреннѣе его изумленіе, какъ на это указывалъ еще Аристотель; тѣмъ строже его сужденіе о самомъ себѣ, какъ это бываетъ у аскета. Настоящій академикъ знаетъ свои предѣлы и предѣлы своего знанія; и потому онъ не бываетъ заносчивъ и не страдаетъ гордостью. Умный академикъ прекрасно знаетъ, гдѣ начинается его «глупость» и никогда не считаетъ себя умнѣйшимъ изъ людей. Онъ чувствуетъ въ себѣ вѣчнаго студента, который всегда будетъ знать недостаточно и которому только дано счастье расшифровывать Богомъ созданный міръ, какъ нѣкій Божій іероглифъ, — пребывая всегда въ борьбѣ и не надѣясь исчерпать свой предметъ.

Вотъ почему тихое, созерцающее и глубокое благоговѣніе является истиннымъ источникомъ академическаго изслѣдованія. И это благоговѣнное преклоненіе передъ Богомъ — созданной тайной міроздаія, это изумленіе челоѣка, испытующаго Божіи «слѣды» и «лучи» въ мірѣ, — есть одна изъ благороднѣйшихъ молитвъ, доступныхъ челоѣку, молитва благодарности и очевидности, ничего не выпрашивающая и ни на что не жалующаяся. Такая молитва несетъ ученому свои лучшіе дары: любовь къ предмету, чающему изслѣдованія; волю къ точной и полной истинѣ; чувство отвѣтственности за всякое утвержденіе и отрицаніе; душе-очистительное смиреніе и аскезъ силы сужденія. Поэтому, при вѣрномъ пониманіи дѣла, академія не только не враждебна религіи, но напротивъ, она представляетъ собою одну изъ благороднѣйшихъ формъ религіозности и творчество истиннаго ученаго есть тихое богослуженіе. «Понятіе» Бога не является объясняющей «гипотезой» въ составѣ науки; но Духъ Божій есть истинная и опредѣляющая основа всѣхъ академическихъ трудовъ и достижений.

Всѣ великіе ученые послѣднихъ вѣковъ знали и открыто исповѣдовали это — и Коперникъ, и Бэконъ, и Галилей, и Ньютонъ, и Кеплеръ, и Лейбницъ, и Бойль, и Ломоносовъ, и Либигъ, и фонъ Майеръ, и Дю-Буа-Реймонъ, и Фехнеръ, и Карлейль. Они выговаривали свое пониманіе съ недвусмысленной ясностью и благоговѣніемъ; и были въ этомъ правы и безошибочны. Они искали и находили не видимость, а сокровенную сущность. А чтобы проникнуть до сущности надо смотрѣть въ глубь, туда, гдѣ пребываетъ живая тайна міроздаія, — творчески задуманная Господомъ и заданная намъ для творческаго изслѣдованія. Настоящій изслѣдователь касается этой тайны всегда съ благоговѣніемъ; и, коснувшись, очень скоро убѣждается въ томъ, что умственное воспріятіе міроздаія незамѣтно приводитъ челоѣка къ созерцанію Божества.

Вотъ почему академія, разучившаяся изумляться и благоговѣть, растерявшая чувства любви и отвѣтственности — неминуемо вырождается и перестаетъ быть Академіей. Она мертвѣетъ, перестаетъ творить и начинаетъ служить духу разложенія, снйженія и гибели; ея «ученые» блуждаютъ по поверхности явленій, «распыляютъ» и «склеиваютъ», повторяютъ свои или чужія

(предписанныя имъ!) мертвыя схемы, мыслять слѣпо, механизировать свой собственный трудъ и теряютъ подлинный, живой предметъ . . .

Такова академія, такова истинная сущность университета и всякой высшей школы какъ таковой (если она еще заслуживаетъ своего имени): это есть лабораторія испытующаго и сомнѣвающагося изслѣдованія, которое творится въ духѣ религіознаго созерцанія. Академія возникаетъ изъ свободы, творитъ въ свободѣ и воспитываетъ къ свободѣ; и въ то же время она стремится свободно уловить тѣ высокія обязательства и тѣ высшія необходимости, которымъ человѣкъ долженъ добровольно подчиниться ради предметнаго познанія. Она изслѣдуетъ не для того, чтобы все разложить и разрушить, но для того, чтобы узрѣть подлинное, вѣрно описать его и творчески созидать жизнеспособное. Она, конечно, есть школа мысли; но эта мысль насыщена любовью и волею: она наблюдаетъ, созерцаетъ и радостно постигаетъ дѣло рукъ Божіихъ. Поэтому академія требуетъ всего человѣка; а отъ него самого — требуетъ нравственнаго напряженія и религіознаго подъема; иначе онъ не коснется самаго главнаго и завѣтнаго: тайны чувственныхъ, нечувственныхъ и сверхчувственныхъ міровъ.

И первое, съ чего всякая академія должна начать, это преодолѣніе всѣхъ извнѣ навязанныхъ и потому мертвыхъ умственныхъ схемъ и трафаретовъ: всѣ они дѣйствуютъ на мысль, на совѣсть, на духъ и на волю человѣка подобно трупному яду.

11.

О пастырскомъ призваніи.

Однажды, уже послѣ изгнанія, за рубежомъ, ко мнѣ обратился протестантскій пасторъ съ вопросомъ, какъ надлежитъ, по моему мнѣнію, понимать пастырское призваніе? Послѣ нѣкоторыхъ колебаній и размышленій я отвѣтилъ ему слѣдующимъ письмомъ.

Многоуважаемый господинъ Пасторъ!

Долженъ сознаться, что вопросъ поставленный въ Вашемъ письмѣ привелъ меня въ немалое затрудненіе. Сумѣю ли я, свѣтскій ученый, вѣрно постигнуть и описать сущность пастырскаго призванія?

Я раздѣляю всей душой Вашу тревогу и заботу. Наше время предъявляетъ ко всѣмъ намъ высокія и неотступныя требованія. Это время великихъ испытаній и каждому изъ насъ необходимо провѣрить сущность и смыслъ своего призванія. Пробыль часть суда надъ собою, часть духовнаго очищенія и обновленія. Наши поколѣнія блуждаютъ по невѣрнымъ дорогамъ и опаснымъ берегамъ; они утратили тотъ благодатный, но «узкій» путь, который былъ намъ указанъ. Они должны одуматься и начать религіозное обновленіе. Они должны вновь воспламенить въ себѣ тотъ «Огонь», который былъ принесенъ намъ Спасителемъ (Лук. XII, 49). Кому нужна соль, потерявшая свою силу? Куда могутъ завести насъ ослѣпшіе вожди? Вѣрьте я раздѣляю Вашу священную тревогу и постоянно думаю о причинахъ современнаго религіознаго оскуднѣнія...

Намъ остается одно: начать неутомимую борьбу за религіозное очищеніе и обновленіе. Надо предвидѣть, что это будетъ борьба великаго напряженія и долгаго дыханія. Мы должны вернуть себѣ цѣльную вѣру, въ которой сердце и разумъ, созерцаніе и воля — сольются въ единый гимнъ, въ такой гимнъ, чтобы на него отозвалась сущая духовность нашего инстинкта; чтобы онъ, обуздавши своего «волка», обновился въ своемъ духовномъ зракѣ и приступилъ бы къ новой жизни. Тогда будутъ найдены новыя творческія идеи и начнутся новыя творческія дѣла, завѣщанныя намъ Евангеліемъ. И сложится новая христіанская культура.

И если не отъ христіанскаго пастырства намъ ждатель этого религіознаго очищенія и обновленія, — то отъ кого же? И если христіанское духовенство не найдетъ въ себѣ силы, мудрости и

искренности для этого подвига, — то куда же обратить намъ наши взоры?

Но именно поэтому, думается мнѣ, было бы вѣрнѣе и плодотворнѣе, если бы нашлись духовныя лица, которые смогли бы и захотѣли бы произнести великія, руководящія слова о семъ предметѣ изъ глубины данного имъ предметнаго опыта, — чтобы это были слова истинной жизни и истиннаго обновленія... Я — свѣтскій человѣкъ, а свѣтскимъ людямъ не подобаетъ притязательность въ вопросахъ внутри-церковнаго строительства. Но разъ что Вы желаете слышать мое сужденіе, то я отложу неумѣстную на сей разъ воздержность и попытаюсь дать Вамъ исповѣдническій отвѣтъ. Но для этого позвольте мнѣ видоизмѣнить Вашъ вопросъ такъ: чего мы, православныя христіане, ожидаемъ отъ нашихъ пастырей? съ какими запросами мы идемъ къ нимъ? чѣмъ они могутъ заслужить наше довѣріе и нашу любовь?

Не буду говорить о богословскомъ образованіи и о подготовкѣ къ духовному пастырству: это подразумѣвается само собою. Они должны знать Писаніе, и Преданіе, и все ученіе Церкви — лучше насъ, и разумѣть все это глубже насъ, чтобы помогать намъ въ часы сомнѣнія и въ поискахъ разумѣнія. Они должны также владѣть душевно-духовнымъ искусствомъ пастыря, глубокочувствіемъ и яснымъ взоромъ духовника, проникательно разумѣющаго индивидуальную человѣческую душу и способнаго указать ей въ трудную минуту жизни вѣрный путь. Эти познанія необходимы, это искусство драгоцѣнно; здѣсь не можетъ быть двухъ мнѣній. Но мнѣ кажется, что мы ожидаемъ отъ нихъ большаго; что для насъ важнѣе всего — истинный и живой евангельскій духъ, тотъ духъ, который свидѣтельствуемъ намъ о Христовой благодати. Я разумѣю: молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую христіанскую совѣсть...

Что можетъ дать человѣку богословское наставленіе, истекающее изъ отвлеченнаго, сухого, логически умствующаго разсудка, не созерцающаго сердцемъ Христа Спасителя и не дающаго намъ увидѣть Его? Какое значеніе имѣетъ абстрактная «экзегеза» или дедуктивный аргументъ въ созерцательныхъ и молитвенныхъ пространствахъ живой религіозности? Могутъ ли они дать религіозную очевидность душѣ, ищущей Божьяго свѣта и огня, чающей живого Бога? Сколько разъ, слушая за-границей бесѣды и проповѣди инославнаго духовенства, я думалъ о томъ, какъ богато оно книжною образованностью и какъ скупое оно въ дарахъ сердца и духа! Какъ чуждо это русской православной душѣ!

По-истинѣ, нѣтъ лучшаго религіознаго наученія, нѣтъ болѣе дѣйствительнаго проповѣдническаго служенія, какъ сила и искренность личной молитвы. Ибо вѣра крѣпнеть и распространяется не отъ логическихъ аргументовъ, и не отъ усилій самонасиливающей воли, и не отъ повторенія словъ и формулъ, но отъ живого воспріятія Бога, отъ молитвеннаго огня, отъ очищенія, подъема и

просвѣтленія сердець, отъ живого созерцанія, отъ реального воспріятія Благодати. Я полагаю, что очень многое зависитъ отъ способности священника и искренно и беззавѣтно молиться сердцемъ, ибо если онъ способенъ къ этому, и если онъ молится такъ въ своемъ уединеніи, то церковная его молитва будетъ зажигать, очищать и просвѣтлять сердца его прихожанъ. Это пламя одинокой молитвы будетъ горѣть и въ его церковномъ богослуженіи, и въ его проповѣди, и въ его жизненныхъ дѣлахъ. И мы, его прихожане, сразу почувствуемъ сердцемъ, что «Самъ Духъ» молится въ немъ «воздыханіями неизреченными» (Римл. VIII, 26) и что эти воздыханія передаются и намъ по неизреченнымъ путямъ.

Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является какъ бы «неопалимой купиной» въ своемъ приходѣ: прихожане его, иногда сами того не замѣчая и не разумѣя, становятся соучастниками его молитвы; имъ передается теплота его вѣры; они пріобщаются его духовному полету. Его поученія воспринимаются по особому: не только умомъ, а сердцемъ, живою совѣстью и честною волею. Его бесѣды несомы творческимъ духовнымъ опытомъ; онѣ проникнуты живымъ христіанскимъ созерцаніемъ; онѣ идутъ изъ сердца и воспринимаются всею душою. И уже простая встрѣча съ нимъ испытывается, какъ утѣшеніе и безмолвное ободреніе.

А въ основѣ этого лежитъ нѣкій религиозный законъ, согласно которому глубина вѣры растетъ и крѣпнеть въ молитвѣ, ибо молитва есть благодатное вознесеніе души къ Богу, озаряющее, очищающее и удостовѣряющее. Вотъ почему пастырь долженъ быть живымъ источникомъ и живою школою молитвы.

Второе, что мы желаемъ найти въ немъ — это живое любящее сердце. Вѣдь лучшее христіанское благовѣствованіе и утѣшеніе проистекаетъ изъ доброты и сердечнаго пониманія. Пока человѣческое чувство сохнетъ и глохнетъ въ умственно-отвлеченныхъ богословскихъ построеніяхъ, пока умъ холодно разсуждаетъ и выноситъ приговоры, враждуетъ въ преніяхъ и каменѣетъ въ ненависти, — до тѣхъ поръ человѣку остается недоступнымъ все откровеніе Господа Христа. Безсердечные люди не постигаютъ въ Евангеліи самаго главнаго; а понявъ, не живутъ имъ и не осуществляютъ его. Черствая жадность дѣлаетъ человѣка слѣпымъ и глухимъ. «Рѣки воды живой» (Іоан. VII, 38) текутъ только для любящихъ людей; ибо любовь открываетъ человѣку зрѣніе и слухъ, — и для Христова откровенія, и для жизни и страданія другихъ людей.

Если священникъ имѣетъ эту любовь, то она чувствуется и въ его церковной молитвѣ, слышится и въ его проповѣди, обнаруживается и въ его дѣлахъ. Кто бесѣдуетъ съ нимъ, или помогаетъ ему, у того возникаетъ особое ощущеніе: онъ чувствуетъ, что воспринялъ отъ своего духовника нѣчто драгоценное, жизненно-важное и ободряющее, что онъ испыталъ свѣтъ и теплоту духовнаго огня, что онъ почувствовалъ живую доброту,

что онъ приблизился къ тому, что разумѣлъ Христось, когда говорилъ о любви. Ибо живое сердце имѣетъ запасъ доброты для всѣхъ: утѣшеніе для горюющаго, помощь для нуждающагося, совѣтъ для безпомощнаго, ласковое слово для всякаго, добрую улыбку для цвѣтовъ и для птичекъ. И простое обхожденіе съ такимъ человѣкомъ становится незамѣтно живою школою сердечнаго участія, любовнаго такта, христіанской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный духовникъ есть носитель христіанскаго духа, духа любви и сердечнаго созерцанія.

И вотъ, третье, чего мы ищемъ и ждемъ отъ нашего пастыря, — это свободная и творческая христіанская совѣсть. Эта совѣсть должна жить въ немъ, какъ самостоятельная и независимая сила, какъ критеріальная мѣра добра и зла, мѣра, по которой мы могли бы провѣрять, исправлять и крѣпить нашу собственную совѣсть. Тамъ, гдѣ мы безпомощно сомнѣваемся и колеблемся, онъ, какъ мастеръ совѣсти, долженъ видѣть ясно и глубоко; гдѣ мы блуждаемъ и заблуждаемся, онъ долженъ знать и указывать намъ прямую дорогу; гдѣ мы вопрошаемъ, онъ долженъ имѣть отвѣтъ. Онъ долженъ поддерживать насъ въ искушеніяхъ и соблазнахъ; онъ долженъ быть нашей опорой въ колебаніи и изнеможеніи. Онъ долженъ сразу прозрѣвать, гдѣ есть нечестность, неискренность, измѣна; но при этомъ — хранить справедливость въ судѣ и осужденіи. Ибо совѣстный христіанинъ не преувеличиваетъ — ни въ утвержденіи, ни въ отрицаніи; его сужденіе исходитъ изъ предметно-видящаго смиренія, но произносится съ мужествомъ и силою, ибо не онъ произноситъ его, а предметный огонь въ немъ. Намъ нуженъ искренный и откровенный исповѣдникъ, ничѣмъ и ни въ чемъ неподкупный, не алчный, безстрашный предъ сильными и свободный отъ властолюбія; намъ нуженъ живой очагъ христіанской совѣсти, съ чистымъ пламенемъ и кроткимъ свѣтомъ.

Мы же сами должны обезпечить ему независимую и достойную жизнь: мы должны разъ навсегда отрѣшиться отъ мзды, чтобы погасить и въ насъ самихъ и въ нашемъ пастырѣ идею о томъ, будто молитва «покупается» и благодать «продается»; чтобы не было торговли о святыняхъ; чтобы пастырь могъ молиться свободно, не помышляя о прибыткѣ, а прихожанинъ могъ обращаться къ нему за помощью, не учитывая своихъ средствъ и расходовъ. Благодать и деньги инородны другъ другу; недостойно мѣрять Божіе дѣло монетою; невозможно унижать своего пастыря нуждою и поборами. Дѣло церкви есть дѣло духа, любви и совѣсти, дѣло молитвы и созерцанія; и прихожане должны снять со своего пастыря заботу о земномъ, обезпечивая ему необходимое и достойное.

Я выскажу Вамъ, многочтимый господинъ Пасторъ, мое глубокое убѣжденіе, если признаюсь, что отношу все мною высказанное не только къ нашимъ православнымъ общинамъ, но и къ общинамъ и священнослужителямъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Я думаю, что всюду, гдѣ вѣетъ духъ Христа, прихожане будутъ счастливы имѣть въ своемъ пастырѣ живой ис-

точникъ молитвы, любви и христіанской совѣсти; и что сіи три основы составляютъ драгоцѣннѣйшую и сильнѣйшую скрѣпу христіанской Церкви вообще. Мнѣ не кажется при этомъ, что высказанныя мною ожиданія слишкомъ высоки и трудны въ осуществленіи, ибо дѣло священника, пастыря и духовника не есть обычная профессія, сходная съ другими, но требуетъ особаго призванія и особыхъ даровъ. Эти дары даны не всякому; но тотъ, кому они даны, не долженъ посягать на это званіе. Здѣсь дѣло не столько въ «умѣніи», сколько во «вдохновеніи»; не столько въ обрядовой словесности, сколько въ живой полнотѣ чувства (по гречески «плѣрома»); не въ отбытіи «требы», а въ духѣ ея совершенія. Пастырь, не знающій о требованіяхъ «плѣромы» и не укрѣпившій въ нихъ своего сердца,—на чемъ утвердить онъ свою вѣру и молитву, какъ поведетъ онъ своихъ прихожанъ къ Богу, чѣмъ наполнить онъ свой храмъ, какъ укрѣпить онъ свой приходъ? Спрашиваю и не нахожу отвѣта...

Простите же мнѣ, мое откровенное письмо. Бывають времена, когда полуправда становится недопустимой и непростительной. Я не могъ и не смѣлъ ограничиться ею; но высказывая здѣсь высказанное, я все время имѣлъ живое чувство, что самое время, нами переживаемое, время страшное, болѣзненное и мучительное, диктуетъ мнѣ свои требованія и ожиданія. И я глубоко благодаренъ Вамъ за то, что Вашъ вопросъ далъ мнѣ возможность облегчить мое сердце изложеніемъ этихъ ожиданій и требованій.

Съ истиннымъ почтеніемъ

(Подпись).

О призваніи врача.

Въ былые годы вся наша семья въ Москвѣ лѣчилась у врача, котораго мы всѣ любили, какъ лучшаго друга. Мы питали къ нему безграничное довѣріе и все-таки, какъ я вижу теперь, мы недостаточно его цѣнили. . . Въ дальнѣйшемъ тяжкая судьба, разтерзавшая Россію, разлучила и насъ съ нимъ; и жизнь дала мнѣ новый опытъ въ другихъ странахъ. И вотъ, чѣмъ дальше уходило прошлое и чѣмъ богаче и разнообразнѣе становился мой жизненный опытъ пациента, тѣмъ болѣе я научался цѣнить нашего стараго друга, тѣмъ болѣе онъ выросталъ въ моихъ глазахъ. Онъ лѣчилъ своихъ пациентовъ иначе, чѣмъ иностранные доктора, лучше, зорче, глубже, ласковѣе. . . и всегда съ болѣющимъ успѣхомъ. И однажды, когда меня посѣтила болѣзнь особенно длительная и свиду «безнадежная», я написалъ ему и высказалъ ему то, что лежало на сердцѣ. Я не только «жаловался» и не только «вспоминалъ» его съ чувствомъ благодарности и преклоненія, но я ставилъ ему также вопросы. Я спрашивалъ его, въ чемъ состоитъ тотъ способъ діагноза и лѣченія, который онъ примѣняетъ? И что — этотъ способъ присущъ ему, какъ личная особенность (талантъ, умѣніе, опытъ?), или же это есть зрѣлый терапевтический методъ? И если это есть методъ, то въ чемъ именно онъ состоитъ? Можно ли его закрѣпить, формулировать и сохранить для будущихъ поколѣній? Потому что «методъ» — означаетъ «вѣрный путь», а кто разъ открылъ вѣрный путь, тотъ долженъ указать его другимъ. . .

Только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ получилъ я отъ него отвѣтъ; но этотъ отвѣтъ былъ драгоцѣннымъ документомъ, который надо было непременно сохранить. Это было своего рода человѣческое и врачебное «credo», исповѣданіе вѣры, начертанное благороднымъ и замѣчательнымъ человѣкомъ. При этомъ онъ просилъ меня, — въ случаѣ если я его переживу, — опубликовать это письмо, не упоминая его имени. И вотъ, я исполняю нынѣ его просьбу, какъ желаніе покойнаго друга, и предаю его письму гласности. Онъ писалъ мнѣ.

Милый другъ! Ваше вопрошающее письмо было для меня сущою радостью. И я считаю своимъ долгомъ отвѣтить на него. Но скажу откровенно: это было не легко. Я уже старъ и времени у меня, какъ всегда, немного. Отсюда эта задержка; но я надѣюсь, что вы простите мнѣ ее. У меня иногда бываетъ чувство, что я дѣйствительно могъ бы сказать кое-что о сущности врачебной практики. Но нѣсть спасенія во многоглаголаніи. . . А

отецъ мой всегда говаривалъ мнѣ: «уловилъ, понялъ, — такъ скажи кратко; а не можешь кратко, такъ помолчи еще немножко!»...

Однако обратимся къ дѣлу.

То, что Вы такъ любезно обозначили, какъ мою «личную врачебную особенность», — по моему мнѣнію входитъ въ самую сущность практической медицины. Во всякомъ случаѣ этотъ способъ лѣченія соотвѣтствуетъ прочной и сознательной русской медицинской традиціи.

Согласно этой традиціи, дѣятельность врача есть дѣло служенія, а не дѣло дохода; а въ обхожденіи съ больными — это есть не обобщающее, а индивидуализирующее разсмотрѣніе; и въ діагнозѣ — мы призваны не къ отвлеченной «конструкціи» болѣзни, а къ созерцанію ея своеобразія. Врачебная присяга, которую приносили всѣ русскіе врачи и которою мы всѣ обязаны русскому Православію, произносилась у насъ съ полною и благоговѣйною серьезностью (даже и невѣрующими людьми): врачъ обязывался къ самоотверженному служенію; онъ обѣщалъ быть человѣколюбивымъ и готовымъ къ оказанію дѣятельной помощи всякаго званія людямъ, болѣзнями одержимымъ; онъ обязывался безотказно являться на зовъ и по совѣсти помогать каждому страдающему; а XIII томъ Свода Законовъ (ст. 89, 132, 149 и др.) вводилъ его гонораръ въ скромную мѣру и ставилъ его подъ контроль.

Но этимъ еще не сказано самое важное, главное, — то, что молчаливо предполагалось, какъ несомнѣнное. Именно — любовь. Служеніе врача есть служеніе любви и состраданія; онъ призванъ любовно обходиться съ больнымъ. Если этого нѣтъ, то нѣтъ главнаго двигателя, нѣтъ «души» и «сердца». Тогда все вырождается и врачебная практика становится отвлеченнымъ «подведеніемъ» больного подъ абстрактныя понятія болѣзни (*morbus*) и лѣкарства (*medicamentum*). Но на самомъ дѣлѣ пациентъ совсѣмъ не есть отвлеченное понятіе, состоящее изъ абстрактныхъ симптомовъ: онъ есть живое существо, душевно-духовное и страдающее; онъ совсѣмъ индивидуаленъ по своему тѣлесно-душевному составу и совсѣмъ своеобразенъ по своей болѣзни. Именно такимъ долженъ врачъ увидѣть его, постигнуть и лѣчить. Именно къ этому зоветъ насъ наша врачебная совѣсть. Именно такимъ мы должны полюбить его, какъ страдающаго и зовущаго брата.

Милый другъ, это не преувеличеніе и не парадоксъ, когда я утверждаю, что мы должны любить нашихъ пациентовъ. Я всегда чувствую, что если пациентъ мнѣ противенъ и вызываетъ во мнѣ не состраданіе, а отвращеніе, то мнѣ не удастся вчувствоваться въ его личность и я не могу лѣчить его, какъ слѣдуетъ. Это отвращеніе я непременно долженъ преодолѣть. Я долженъ почувствовать моего пациента, мнѣ надо добраться до него и принять его въ себя. Мнѣ надо, такъ сказать, взять его за руку, войти съ нимъ вмѣстѣ въ его «жизненный домъ» и вызвать въ немъ творческій, цѣли-

тельный подъемъ силъ. Но если мнѣ это удалось, то вотъ — я уже полюбилъ его. А тамъ, гдѣ мнѣ это не удавалось, тамъ все лѣчение шло невѣрно и криво.

Лѣчение, цѣленіе есть совмѣстное дѣло врача и самого пациента. Въ каждомъ индивидуальномъ случаѣ должно быть создано нѣкое врачебно-цѣлебное «мы»: онъ и я, я и онъ; мы вмѣстѣ и сообща должны вести его лѣчение. А создать это возможно только при взаимной симпатіи. Психиатры и невропатологи нашихъ дней признали это теперь, какъ несомнѣнное. При этомъ пациентъ, страдающій, теряющій силы, не понимающій своей болѣзни, — зоветъ меня на помощь; первое, что ему отъ меня нужно, это сочувствіе, симпатія, вчувствованіе, — а это и есть живая любовь. А мнѣ необходимъ съ его стороны откровенный рассказъ, и въ описаніи болѣзни, и въ анамнезѣ; мнѣ нужна его откровенность; я ищу его довѣрія, — и не только въ томъ, что я «знаю», «понимаю», «помогу», но особенно въ томъ, что я чую его болѣзнь и его душу. А это и есть его любовь ко мнѣ, которую я долженъ заслужить и пріобрѣсти. Онъ будетъ мнѣ тѣмъ легче и тѣмъ больше довѣрять, чѣмъ живѣе въ немъ будетъ ощущеніе, что я дѣйствительно принимаю бремя его болѣзни, раздѣляю его опасенія и его надежды и рѣшилъ сдѣлать все, чтобы выручить его. Врачъ, не любящій своихъ пациентовъ... что онъ такое? Холодный доктринеръ, любопытный разспрашиватель, шпионъ симптомовъ, рецептурный автоматъ... А врачъ, котораго пациенты не любятъ, къ которому они не питаютъ довѣрія, онъ похожъ на «паломника», котораго не пускаютъ въ святилище, или на полководца, которому надо штурмовать совершенно неприступную крѣпость...

Это первое. А затѣмъ мнѣ нужно прежде всего установить, что пациентъ дѣйствительно боленъ и дѣйствительно желаетъ выздороветь: ибо бывають кажущіеся пациенты, мнимые больные, наслаждающіеся своею «болѣзнью», которыхъ надо лѣчить совсѣмъ по иному. Надо установить, какъ безспорное, что онъ страдаетъ и хочетъ освободиться отъ своего страданія. Онъ долженъ быть готовъ и способенъ къ само-исцѣленію. Мнѣ придется, значить, обратиться къ его внутреннему, сокровенному «самоврачу», разбудить его, войти съ нимъ въ творческій контактъ, закрѣпить эту связь и помочь ему стать активнымъ. Потому что въ конечномъ счетѣ всякое лѣчение есть самолѣченіе человѣка, и всякое здоровье есть самостоятельное равновѣсіе, поддерживаемое инстинктомъ и всѣмъ организмомъ въ его совокупности...

Да, каждый изъ насъ имѣетъ своего личнаго «самоврача», который чувствуетъ свои опасности и недуги, и молча, ни слова не говоря, втайнѣ принимаетъ необходимыя мѣры: то гонитъ на прогулку, то закупориваетъ кровоточащую рану, то гаситъ аппетитъ (когда нужна діета), то посылаетъ неожиданный сонъ, то прекращаетъ перенапряженную работу мигренью. Но есть люди, у которыхъ этотъ таинственный «самоврачъ» находится въ загонѣ и пренебреженіи: они живутъ не инстинктомъ, а разсудкомъ, произволомъ, или же дурными страстями — и не слушаютъ его, и пере-

стають воспринимать его тихія, мудрыя указанія ; а онъ въ нихъ прозябаетъ въ какомъ-то странномъ біологическомъ безсиліи, исключенный, загнанный, пренебреженный. . .

Безъ творческаго контакта съ этой самоцѣлительной силой организма можно только прописывать человѣку полезныя яды и устранять кое-какіе легкіе симптомы ; но пути къ истинному выздоровленію — не найти. Настоящее здоровье есть творческая функція инстинкта самосохраненія ; въ немъ сразу проявляется — и воля, и искусство, и непрерывное дѣйствіе индивидуальнаго «самоврача». А контактъ съ этимъ врачомъ добывается именно черезъ вчувствованіе, черезъ вѣрные совѣты, черезъ оптимистическое ободреніе больного и ласковую суггестію (своего рода «наводящее внушеніе»).

Отсюда уже ясно, что каждое лѣченіе есть совершенно индивидуальный процессъ. На свѣтѣ нѣтъ одинаковыхъ людей ; идея равенства есть пустая и вредная выдумка. Ни одинъ врачъ никогда не имѣлъ дѣла съ двумя одинаковыми пациентами или тѣмъ болѣе съ двумя одинаковыми болѣзнями. Каждый пациентъ единствененъ въ своемъ родѣ и неповторимъ. Мало того : на самомъ дѣлѣ нѣтъ такихъ «болѣзней», о которыхъ говорятъ учебники и обыватели ; есть только больные люди и каждый изъ нихъ болѣетъ по своему. Всѣ нефритики — различны ; всѣ ревматики — своеобразны ; ни одинъ неврастеникъ не подобенъ другому. Это только въ учебникахъ говорится о «болѣзняхъ» вообще и «симптомахъ» вообще ; въ дѣйствительной жизни есть только «больные въ частности», т. е. индивидуальные организмы, (утратившіе свое равновѣсіе) и страдающіе люди. Поэтому мы, врачи, призваны увидѣть каждого пациента въ его индивидуальности и во всемъ его своеобразіи и постоянно созерцать его, какъ нѣкій «уникумъ».

Это значитъ, что я долженъ создать въ себѣ — наблюденіемъ и мыслящимъ воображеніемъ — для каждого пациента какъ бы особый «препаратъ», особый своеобразный «обликъ» его организма, вѣрную «имаго» страдающаго брата. Я долженъ созерцать и объяснять его состоянія, страданія и симптомы черезъ этотъ «обликъ», я долженъ исходить изъ него въ моихъ сужденіяхъ и всегда быть готовымъ внести въ него необходимыя поправки, дополненія и уточненія. Мнѣ кажется, что этотъ процессъ имѣетъ въ себѣ нѣчто художественное, что въ немъ есть эстетическое творчество ; мнѣ кажется, что хорошій врачъ долженъ стать до извѣстной степени «художникомъ» своихъ пациентовъ, что мы, врачи, должны постоянно заботиться о томъ, чтобы наше воспріятіе пациентовъ было достаточно тонко и точно. Намъ задано «вчувствованіе», созерцающее «отождествленіе» съ нашими пациентами : и это дѣло не можетъ быть замѣнено ни отвлеченнымъ мышленіемъ, ни конструктивнымъ фантазироваіемъ.

Каждый больной подобенъ нѣкому «живому острову». Этотъ островъ имѣетъ свою исторію и свою «прѣисторію». Эта исторія не совпадаетъ съ анамнезомъ пациента, т. е. съ тѣмъ, что ему удастся вспомнить о себѣ и рассказать изъ своего прошлаго ;

всякій анамнезъ имѣть свои естественныя границы, онъ обрывается, становится неточенъ и проблематиченъ даже тогда, когда пациентъ въ полнѣйшѣмъ откровеннѣйшѣмъ (что бываетъ рѣдко) и когда онъ обладаетъ хорошей памятью. Поэтому матеріалъ, доставленный анамнезомъ, долженъ быть подтвержденъ и пополненъ изъ свѣдѣній, познаній, наблюденій и созерцанія самого врача. Онъ долженъ совершить это посредствомъ осторожнаго предположительнаго выспрашиванія и внутренняго созерцанія, но непременно въ глубокомъ и осторожномъ молчаніи («про себя»). Такъ называемая «исторія болѣзни» (*historia morbi*) есть на самомъ дѣлѣ не что иное, какъ вся жизненная исторія самого пациента. Я долженъ увидѣть больного изъ его прошлаго; если это мнѣ удастся, то я имѣю шансъ найти ключъ къ его настоящей болѣзни и отыскать дверь къ его будущему здоровью. Тогда его наличная болѣзнь предстанетъ предо мною, какъ низшая точка его жизни, отъ которой можетъ начаться подъемъ къ выздоровленію.

Человѣческій организмъ, какъ живая индивидуальность, есть таинственная система самоподдержанія, самопитанія, самообновленія, — нѣкая цѣлокупность, въ которой все сопринадлежитъ и другъ друга поддерживаетъ. Поэтому мы не должны ограничиваться одними симптомами и ориентироваться по нимъ. Симптомы, свиду одинаковые, могутъ имѣть различное происхожденіе и совершенно различное значеніе въ цѣлостной жизни организма. Симптомъ является лишь поверхностнымъ исходнымъ пунктомъ; онъ даетъ изслѣдователю лишь дверь, какъ бы входъ въ шахту. Онъ долженъ быть поставленъ въ контекстъ индивидуальнаго организма, чтобы освѣтить его и чтобы быть освѣщеннымъ изъ него.

Какъ часто я думалъ въ жизни о томъ, что филологи, разсматривающіе слово въ отвлеченіи, въ его абстрактной формѣ, въ отрывѣ отъ его смысла, какъ пустой звукъ, — убиваютъ и теряютъ свой предметъ. И подобно этому обстоитъ у насъ, у врачей. Все живетъ въ контекстѣ этого индивидуальнаго, Богомъ созданнаго, органически-художественнаго сцѣпленія, въ живомъ контекстѣ этой человѣческой личности, съ ея индивидуальнымъ наслѣдственнымъ бременемъ, съ ея субъективнымъ прошлымъ, настоящимъ и органическимъ окруженіемъ. Сравнительная анатомія учитъ насъ построить въ синтетическомъ созерцаніи — по одной кости весь организмъ. Врачебный діагнозъ требуетъ отъ насъ, чтобы мы по одному вѣрно наблюденному симптому, — ощупью и чутьемъ, изслѣдуя и созерцая, постепенно, — построили всю индивидуальную систему дыханія, питанія, кровообращенія, рефлексовъ, внутренней секреціи, нервнаго тонуса и повседневной жизни нашего пациента. Это органическое созерцаніе мы должны все время достраивать и исправлять на ходу всевозможными приемами: испытующими вопросами, которые ставятся мимоходомъ, безъ особаго подчеркиванія и отнюдь не пугаютъ больного; молчаливыми наблюденіями за его свиду незначительными проявленіями, движеніями и высказываніями; молчаливыми прогнозами, о которыхъ больной не долженъ по-

дозрѣвать; осмысленіемъ его походки; анализомъ его крови и другихъ выдѣленій и т. д. Все это невозможно безъ вчувствованія, и вчувствованіе невозможно безъ любви. Все это доступно только художественному созерцанію. И практикующій врачъ по истинѣ можетъ быть сопоставленъ съ «идіографическимъ» историкомъ, изслѣдующимъ одно, единственное въ своемъ родѣ и его особенно заинтересовавшее «историческое явленіе».

Человѣкъ, вообще говоря, становится «тѣмъ», что онъ е ж е д н е в н о дѣлаетъ или чего не дѣлаетъ. Пусть онъ только попробуетъ прекратить необходимое ему движеніе или цѣлительный сонъ — и изъ этихъ упущенныхъ имъ «невѣсомостей» каждаго дня у него скоро возникнетъ болѣзнь. Напротивъ, если онъ ежедневно хотя бы понемногу будетъ грести веслами, или если онъ научится засыпать хотя бы на пять минутъ среди повседневной суеты, — то онъ скоро пріобрѣтетъ себѣ при помощи этихъ ежедневныхъ оздоравливающихъ упражненій — нѣкій запасъ здоровья.

Поэтому здоровая, гигиеничная «программа дня», могущая постепенно возстановить утраченное равновѣсіе организма, обѣщаетъ каждому изъ насъ исцѣленіе и здоровье. Настоящее врачеваніе не просто старается устранить лѣкарствами извѣстные непріятные и болѣзненные симптомы, нѣтъ, оно побуждаетъ организмъ, чтобы онъ самъ преодолѣлъ эти симптомы и больше не воспроизводилъ ихъ. И точно такъ же дѣло не только въ томъ, чтобы отвести смертельную опасность, но въ томъ, чтобы выработать индивидуально вѣрный образъ жизни и научить пациента наслаждаться имъ. Эти слова точно передаютъ главную мысль: настоящее «лѣкарство» — не горько, а сладостно; оно изобрѣтается врачомъ для даннаго пациента, въ особицу, и притомъ изобрѣтается совмѣстно съ пациентомъ; оно должно вызывать у пациента жажду жизни, дать ему жизнерадостность и поднять на высоту его творческія силы. Здоровье есть равновѣсіе и наслажденіе. Лѣченіе есть путь, ведущій отъ страданія къ радости.

Есть поговорка: «подбирай не Сеньку по шапкѣ, а шапку по Сенькѣ». Это вѣрно и для всякой одежды и обуви. Это примѣнимо и къ лѣкарствамъ и къ образу жизни. Нѣтъ всеисцѣляющихъ средствъ; «панацея» есть вредная иллюзія. Нѣтъ такого «впрыскиванія» и нѣтъ такого образа жизни, которые были бы всѣмъ на пользу. Если врачъ изобрѣтаетъ новое средство или новый образъ жизни (напр. режимъ Кнейпа, или вегетеріанство) и начинаетъ примѣнять его у всѣхъ пациентовъ, — настаивая, экспериментируя, внушая и триумфируя — то онъ поступаетъ нелѣпо и вредно. Я называю такое лѣченіе «прокрустовымъ врачеваніемъ», памятуя о легендарномъ разбойникѣ, укладывавшемъ всѣхъ людей на одну и ту же кровать: длинному человѣку онъ обрубалъ «излишки», короткаго онъ вытягивалъ до «нужной» мѣрки. Такіе врачи всегда встрѣчались; они попадаютъ и теперь. Такой врачъ «любитъ» тѣхъ пациентовъ, которымъ его новое средство «помогаетъ», — ибо они угождаютъ его тщеславію и доходолюбію;

а къ тѣмъ, которымъ его мнимая «панацея» не помогаетъ, онъ относится холодно, грубо или даже враждебно.

Утверждая все это, я совсѣмъ не отрекаюсь отъ всѣхъ нашихъ лабораторій, анализовъ, просвѣчиваній, рентгеновскихъ снимковъ, отъ нашихъ измѣреній и подсчетовъ. Но всѣ эти арифметическія и механическія подсобныя средства нашей практики получаютъ свое настоящее значеніе отъ вѣрнаго примѣненія: все это только начальныя буквы нашего врачебнаго текста; это естественно-научная азбука нашихъ діагнозовъ, но отнюдь еще не самый діагнозъ. Діагнозъ осуществляется въ живомъ художественно-любовномъ созерцаніи страдающаго брата; и врачебная практика есть индивидуально-примѣненное изслѣдованіе, отыскивающее тотъ путь, который возстановилъ бы въ немъ утраченное имъ органическое равновѣсіе.

Но это еще не все. Горе тому изъ насъ, кто упуститъ въ лѣченіи духовную проблематику своего паціента и не сумѣетъ считаться съ нею! Врачъ и паціентъ суть духовныя существа, которыя должны совмѣстно направить судьбу страдающаго духовнаго человѣка. Только при такомъ пониманіи они найдутъ вѣрную дорогу. Человѣкъ не грибъ и не лягушка: энергія его тѣлеснаго организма, его «соматического Я», дана ему для того, чтобы онъ тратилъ и сжигалъ его вещественные запасы въ духовной работѣ. И вотъ есть люди, которые сжигаютъ слишкомъ много своей энергіи и своихъ веществъ въ духовной работѣ — и отъ этого страдаютъ; и есть другіе люди, которые пытаются истратить весь запасъ своихъ тѣлесныхъ силъ и веществъ — черезъ тѣло, духомъ же пренебрегаютъ — и отъ этого терпятъ крушеніе. Есть болѣзни воздержанія (аскеза) и болѣзни разнузданія (перетраты). Есть болѣзни пренебреженнаго и потому истощаемаго тѣла; и есть болѣзни пренебреженнаго и потому немощнаго духа. Врачъ долженъ все это установить, взвѣсить и найти индивидуально-вѣрное рѣшеніе; и притомъ такъ, чтобы паціентъ этого не замѣтилъ. Нельзя лѣчить тѣло, не считаясь съ душою и духомъ; но духъ очень часто и знать не желаетъ о томъ, что его «лѣчатъ». . . Поэтому каждый изъ насъ, врачей, долженъ имѣть доступъ ко многимъ тонкостямъ душевныхъ болѣзней, всегда имѣть при себѣ «очки» нервнаго врача и примѣнять ихъ осторожно и молчаливо . . .

Только на этомъ пути мы можемъ осуществить синтетическое, творчески живое діагностическое созерцаніе и врачеваніе. Только такъ мы постигнемъ страданіе нашего паціента въ его органической цѣлокупности и сумѣемъ вѣрно облегчить его таинственную болѣзнь.

Милый другъ! Я бы хотѣлъ вручить Вамъ эти отрывочныя замѣчанія какъ своего рода «исповѣданіе» стараго русскаго врача. Это не мои выдумки. Я только всю жизнь примѣнялъ эти правила и теперь выговорилъ ихъ. Они укоренены въ традиціяхъ русской духовной и медицинской культуры и должны быть переданы по возможности новымъ подрастающимъ поколѣніямъ русскихъ врачей. А такъ какъ я навѣрное завершу мой земной путь

раньше Васъ, то прошу Васъ объ одолженіи: сохраните мое письмо и опубликуйте его послѣ моей смерти тамъ и тогда, когда Вы признаете это цѣлесообразнымъ. Но не называйте при этомъ моего имени, потому что, правда же, дѣло не въ имени, а въ культурной традиціи русскаго врача. Да и времена теперь такія, что всякое неосторожно названное имя можетъ погубить кого-нибудь».

Письмо заканчивалось дружескимъ привѣтомъ и полною подписью. А мнѣ оставалось только исполнить просьбу моего стараго друга, что я нынѣ и дѣлаю.

О политическомъ успѣхѣ.

(ЗАБЫТЫЯ АКСІОМЫ).

Самые опасные предразсудки это тѣ, которые замалчиваются и не выговариваются. Такъ обстоитъ особенно въ политикѣ, гдѣ предразсудки цвѣтутъ буйно и неискоренимо. И вотъ первый политическій предразсудокъ долженъ быть формулированъ такъ:

«Что такое политика — извѣстно каждому; тутъ не о чемъ разговаривать» . . .

«Извѣстно каждому» . . . Но откуда же это ему извѣстно? Откуда приходитъ къ людямъ вѣрное пониманіе всего того тонкаго, сложнаго и судьбоноснаго, что таитъ въ себѣ политика? Что же, это правильное постиженіе присуще людямъ «отъ природы»? Или, можетъ быть, оно дается имъ во снѣ? Откуда этотъ предразсудокъ, будто каждому человѣку «само собой понятно» все то, что открывается только глубокому, дальнозоркому и благородному духу? Не изъ этого ли предразсудка выросъ современный политическій кризисъ? Не даромъ человѣчество постепенно приходитъ къ тому убѣжденію, что нашъ вѣкъ есть эпоха величайшихъ политическихъ неудачъ, извѣстныхъ въ міровой исторіи. И можетъ быть уже пора извлечь уроки изъ этихъ неудачъ и подумать о новыхъ путяхъ, ведущихъ къ спасенію . . .

Было бы необычайно интересно и поучительно прослѣдить черезъ всю исторію человѣчества и установить, какія данныя, какія предпосылки ведутъ къ настоящему политическому успѣху, и что надо дѣлать, чтобы добиться въ жизни такого подлиннаго политическаго успѣха? Въ этой области человѣческой опытъ чрезвычайно богатъ и поучителенъ — отъ древности и до нашихъ дней . . . Кто, собственно говоря, имѣлъ политическій успѣхъ? Какими путями онъ шелъ къ нему? Кто, наоборотъ, терпѣлъ крушеніе и почему? И, въ концѣ концовъ, что же такое есть «политическій успѣхъ» и въ чемъ онъ состоитъ?

Установимъ прежде всего, что въ неопредѣленной и легко вырождающейся сферѣ «политики» — отдѣльные люди и цѣлыя партіи могутъ имѣть кажущійся успѣхъ, который въ дѣйствительности будетъ фатальнымъ политическимъ проваломъ. Люди слишкомъ часто, говоря о политикѣ, разумѣютъ всякія дѣла, хлопоты и интриги, которыя помогаютъ имъ захватить государственную власть, не останавливаясь ни передъ какими подходящими средствами, фокусами, подлостями и преступленіями. Люди думаютъ, что все, что дѣ-

лается ради государственной власти, изъ-за нея, во кругъ нея и отъ ея лица, — что все это «политика», совершенно независимо отъ того, каково содержаніе, какова цѣль и какова цѣнность этихъ дѣяній. Самая коварная интрига, самое отвратительное преступленіе, самое гнусное правленіе — является съ этой точки зрѣнія «политикой», если только тутъ замѣшана государственная власть.

Такъ, исторія знаетъ людей и партіи, которые дѣлали свою скверную и преступную политику, нисколько не заботясь и даже не помышляя объ истинныхъ цѣляхъ и задачахъ государства, о политическомъ общеніи, о благѣ народа въ цѣломъ, о судьбахъ націи, о родинѣ и объ ея духовной культурѣ. Они искали власти, они желали править и повелѣвать. Иногда они совсѣмъ даже не знали, что они будутъ дѣлать послѣ захвата власти. Иногда они открыто выговаривали, что они преслѣдуютъ интересы одного единственного класса и ничего не желаютъ знать о народѣ въ цѣломъ или объ отечествѣ. Они бывали готовы жертвовать народомъ, родиной, ея свободой и культурой — во имя захвата власти и во имя классового злоупотребленія ею. Иногда же они обманно прикрывались «соціальною программой», съ тѣмъ, чтобы послѣ захвата власти творить свои собственные желанія, вождельнія и интересы... Исторія знаетъ множество авантюристовъ, честолюбцевъ, хищниковъ и преступниковъ, овладѣвшихъ государственною властью и злоупотреблявшихъ ею. Нужно быть совсѣмъ слѣпымъ и наивнымъ, чтобы сопричислять эти разбойничьи дѣла къ тому, что мы называемъ Политикой.

Когда мы видимъ въ древней Греціи въ эпоху Пелопонесской войны, какъ люди высшаго класса связуются такими обязательствами: «Клянусь, что я буду вѣчнымъ врагомъ народа и что сдѣлаю ему столько зла, сколько смогу» (см. у Аристотеля и Плутарха), то мы отказываемся признать это «политической дѣятельностью»... Когда въ той же Греціи властью овладѣваютъ повсюду честолюбивые, жадные и легкомысленные тираны, то это не Политика, а гибель политики. Когда въ Милетѣ демократы, захвативъ власть, забираютъ дѣтей богатаго сословія и бросаютъ ихъ подъ ноги быкамъ; а аристократы, вернувшись къ власти, собираютъ дѣтей бѣднаго сословія, обмазываютъ ихъ смолой и сожигаютъ живыми (см. у Гераклита Понтийскаго), то это не Политика, а рядъ позорныхъ злодѣяній.

Когда мы изучаемъ исторію такихъ римскихъ «цезарей», какъ Тиберій, Калигула, Неронъ, Вителлій, Домиціанъ, то мы чувствуемъ, что задыхаемся отъ отвращенія ко всѣмъ ихъ низостямъ и жестокостямъ, къ ихъ разврату и злодѣйству — и нѣтъ тѣхъ аргументовъ, которые заставили бы насъ признать ихъ дѣятельность «политической» и «государственной»: она остается криминальной и развратной.

Когда въ Италіи въ XV вѣкѣ воцаряются тираны, — почти въ каждомъ городѣ свой, — то ихъ злодѣйства можно называть «политикой» только по недоразумѣнію. Нѣтъ того вѣроломства,

нѣтъ той жестокости, нѣтъ того ограбленія, нѣтъ того кощунства, котораго бы они не совершали; нѣтъ той противоестественности, передъ которой они останавливались бы. Такія имена, какъ Галеаццо Марія Сфорца, Ферранте Аррагонскій, Филиппъ Марія Висконти, Сигизмундъ Малатеста, Эверсо д'Ангвиллари — должны найти себѣ мѣсто въ исторіи міровыхъ преступниковъ, а не въ исторіи Политики. Ибо политика имѣетъ свои здоровыя основы, свои благородныя, духовныя аксіомы — и тотъ, кто ихъ попираетъ, причисляетъ самъ себя къ злодѣямъ.

Робеспьеръ, Кутонъ и Маратъ были не политическіе дѣятели, а палачи. Тоталитарные деспоты и террористы нашихъ дней позорятъ политику и злоупотребляютъ государствомъ; имъ мѣсто среди параноиковъ, прогрессивныхъ паралитиковъ и преступниковъ, а не среди политическихъ правителей.

И вотъ, если такіе люди «имѣли успѣхъ», если имъ удавалось захватить въ государствѣ власть и осуществить въ своей жизни торжество произвола и своекорыстія, то это означаетъ, что они «преуспѣли» въ своей частной жизни, на горе народу и странѣ, а самъ народъ переживалъ эпоху бѣдствій и униженій, можетъ быть прямую политическую катастрофу. Съ формальной точки зрѣнія ихъ житейская борьба и ихъ карьера — имѣла «политическій» характеръ, потому, что они добивались государственной власти и захватывали ее. Но по существу дѣла ихъ дѣятельность была анти-политической и противогосударственной. Какъ авантюристы и карьеристы — они «преуспѣвали»; но какъ «политики», они осуществляли позорный провалъ, ибо они губили свой народъ въ нуждѣ, страхѣ и униженіяхъ. Ихъ «орудіе» — государственный аппаратъ — имѣло политическій смыслъ и государственное значеніе; но ихъ цѣль попирала всякій политическій смыслъ и послѣдствія ихъ дѣлъ были государственно-разрушительны. Тотъ путь, которымъ они шли, казался имъ, а можетъ быть и народной массѣ — «политическимъ»; но то, что они дѣлали, и способъ ихъ дѣятельности, и создаваемое ими — все это было на самомъ дѣлѣ противогосударственно, противообщественно, праворазрушительно, анти-политично и гибельно: источникъ несправедливостей, безчисленныхъ страданій, ненависти, убійствъ, развала и разложенія.

Все это означаетъ, что Политику нельзя разсматривать формально и расцѣпнивать по внѣшней видимости. Она не есть дикая скачка авантюристовъ; она не есть погоня преступниковъ за властью. Есть основное и общее правило, согласно которому никакая человѣческая дѣятельность не опредѣляется тѣми средствами или орудіями, которыя она пускаетъ въ ходъ, — ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни политика. Все опредѣляется и рѣшается тою высшею и предметною жизненною цѣлью, которой призваны служить эти средства. Государственная власть есть лишь средство и орудіе, призванное служить нѣкой выс-

шей цѣли; — и не болѣе того. Дѣло опредѣляется тѣмъ великимъ, содержательнымъ заданіемъ, которому государственная власть призвана служить и въ дѣйствительности служить. Политика не есть пустая «форма» или внѣшній способъ; она зависитъ отъ цѣли и заданія, такъ что цѣль опредѣляетъ и форму власти и способъ ея осуществленія. Политика есть сразу: и содержаніе и форма. И поэтому истинный политическій успѣхъ состоитъ не въ томъ, чтобы завладѣть государственной властью, но въ томъ, чтобы вѣрно ее построить и направить ее къ вѣрной и высокой цѣли.

Итакъ, надо различать истинный политическій успѣхъ и мнимый. Частный, личный жизненный «успѣхъ» тирана — есть мнимый успѣхъ. Истинный успѣхъ есть публичный успѣхъ и расцвѣтъ народной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устройствомъ своей личной карьеры и пренебрегаетъ благополучіемъ народа и расцвѣтомъ его національной жизни, то онъ является предателемъ своего народа и государственнымъ преступникомъ.

Итакъ, что же есть истинная политика?

Политика есть прежде всего служеніе, — не «карьера», не личный жизненный путь, не удовлетвореніе тщеславія, честолюбія и властолюбія. Кто этого не понимаетъ или не пріемлетъ, тотъ не способенъ къ истинной политикѣ: онъ можетъ только извратить ее, опошлить и сдѣлать изъ нея — карикатуру или преступленіе. И пусть не говорятъ намъ, что «большинство» современныхъ политиковъ смотритъ на дѣло «иначе»: если это такъ, то всѣ бѣды, опасности и гнусности современной «политики» объясняются именно этимъ.

Служеніе предполагаетъ въ человѣкѣ повышенное чувство отвѣтственности и способность забывать о своемъ личномъ «успѣхѣ-неуспѣхѣ» передъ лицомъ Дѣла.

Истинное Политическое служеніе имѣетъ въ виду не отдѣльныя группы и не самостоятельные классы, но весь народъ въ цѣломъ. Политика по существу своему не раскалываетъ людей и не разжигаетъ ихъ страсти, чтобы бросить ихъ другъ на друга; напротивъ, она объединяетъ людей на томъ, что имъ всѣмъ общее. Народная жизнь органична: каждая часть нуждается въ остальныхъ и служить имъ; ни одна часть не можетъ и не смѣетъ подавлять остальныхъ, используя ихъ безотвѣтственно. Каждый изъ насъ заинтересованъ самымъ реальнымъ образомъ въ благополучіи каждаго изъ своихъ согражданъ; одинъ бѣдствующій безъ помощи — ставить всѣхъ въ положеніе черствыхъ предателей; одинъ нищій есть угроза всѣмъ; одинъ заболѣвшій чумою заразить всѣхъ; и каждый сумасшедшій, каждый запойный пьяница, каждый морфинистъ есть общая опасность. Поэтому истинная политика утверждаетъ органическую солидарность всѣхъ со всѣми. И поэтому истинный политическій успѣхъ до

ступень только тому, кто живетъ органическимъ созерцаніемъ и мышленіемъ.

Такая программа всеобщей органической солидарности ясна далеко не всѣмъ, и чѣмъ болѣе челоуѣкъ духовно близорукъ и своекорыстенъ, тѣмъ менѣе она ему доступна. Исторія знаетъ безчисленное множество живыхъ примѣровъ того, что массы совсѣмъ не желали настоящей политики и соотвѣтствующей ей программы, а валили за антиполитическими и противогосударственными предложеніями демагоговъ. Въ XIX вѣкѣ такую разрушительную практику, такой политическій развратъ формулировалъ и провозгласилъ Карлъ Марксъ съ его классовой партіей и программой...

Но мудрые и вѣрные отнюдь не должны соблазняться этимъ: они должны блюсти свое пониманіе и свою программу даже тогда, если это грозитъ имъ изоляціей и преслѣдованіями. Надо имѣть достаточно гражданскаго мужества, чтобы справиться и съ изоляціей, чтобы принять и преслѣдованіе, иными словами, чтобы примириться со своимъ личнымъ политическимъ неуспѣхомъ. Надо быть увѣреннымъ, что придетъ иное время, придутъ иныя, отрезвленные и умудренные поколѣнія, которые признають этотъ кажущійся политическій «проваль» за истинный политическій успѣхъ и найдутъ настоящія вѣрные слова для осужденія политическаго разврата.

Но если настоящій политикъ встрѣтитъ сочувствіе у своихъ современниковъ, тогда онъ долженъ повести борьбу и попытаться увлечь на вѣрный путь широкіе круги народа. Ибо политика есть искусство объединять людей, — приводитъ къ одному знаменателю многоголовыя и разнообразныя желанія. Здѣсь дѣло не въ томъ, чтобы люди «сговорились другъ съ другомъ на чѣмъ угодно», ибо они могутъ согласиться и на анти-политической программѣ и на противогосударственныхъ основахъ: сговариваются вѣдь и разбойники, и экспроприаторы, и террористы, и дѣтопокупатели... Нужно политическое единеніе, политическое и по формѣ, и по содержанію: лояльное, правовое, свободное по формѣ и общенародное, справедливое, органическое и зиждущее по содержанію. И въ этомъ состоитъ задача истинной политики.

Поэтому политика есть волевое искусство; — искусство соціальнаго воленія. Надо организовать и вѣрно выразить единую всенародную волю, и при томъ такъ, чтобы это единеніе не растратило по дорогѣ силу совокупнаго рѣшенія. Ибо исторія знаетъ множество примѣровъ гдѣ «единеніе» свиду удавалось, но на самомъ дѣлѣ уже не имѣло за собою реальной волевой силы: попутно дѣлалось такъ много «нежелательныхъ уступокъ», заключались на право и налѣво такіе неискренніе, лукавыя «компромиссы», что люди охладѣвали и только притворялись «согласными»; на самомъ же дѣлѣ никто уже не хотѣлъ — ни единенія, ни его программы и когда начиналось строительство, то все рушилось, какъ карточный домъ. Вотъ почему политика есть искусство

совмѣстнаго и рѣшительнаго воленія: безвольная политика есть недоразумѣніе или предательство, всегда источникъ разочарованія и бѣдствій.

Отсюда вытекаетъ, что политика нуждается въ свободной и необманной (искренней) волѣ. Истинное единеніе покоится на добровольномъ согласіи: люди должны объединяться не по принужденію, не изъ страха, не по лужавству и не для взаимнаго обмана. Чѣмъ меньше интриги въ политикѣ, тѣмъ она здоровѣе, глубже и продуктивнѣе. Комплотъ обманщиковъ, провокаторовъ, диверсантовъ, словомъ — людей безчестныхъ и безотвѣтственныхъ никогда не создастъ ни здороваго государства, ни вѣрной политики. Чѣмъ больше въ политикѣ конспираціи, тѣмъ больше въ ней лжи и обмана. Чѣмъ сильнѣе вліяніе таинственной и двусмысленной закулисы, тѣмъ больше лжи, предательства и своекорыстія будетъ въ политической атмосферѣ. Нельзя объединить и согласить всѣхъ; это не удастся никогда. Надо объединить лучшихъ, умнѣйшихъ, способныхъ къ отвѣтственному служенію, не связанныхъ никакими кулискими «приказами» и «запретами»; а это объединеніе должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. И при этомъ надо всегда помнить, что это «большинство» не способно творить и создавать, созерцать и строить политику: оно способно только отзываться на идею и поддерживать программу. Всегда всѣ значительныя и великія реформы вынашивались инициативнымъ меньшинствомъ и имъ же проводились въ жизнь; а большинство только соглашалось, участвовало и подчинялось. Это отнюдь не означаетъ призыва къ тоталитарному строю, самому больному, извращенному и унижительному изъ всѣхъ политическихъ режимовъ. Но это означаетъ призывъ — не переоцѣнивать голосъ массы въ политикѣ, ибо масса не живетъ органическимъ созерцаніемъ и мышленіемъ, доступнымъ только лучшему меньшинству, которое и призвано осуществлять его и вовлекать въ него массу доказываніемъ и показываніемъ...

Для того, чтобы создать это единеніе, лучшіе люди народа (т. е. именно тѣ, которые хотятъ и могутъ служить общей органической солидарности) должны договориться и согласиться другъ съ другомъ, крѣпко сомкнуть свои ряды и затѣмъ приступить къ объединенію народа. Если лучшіе политики страны этого не сдѣлаютъ, то это дѣло будетъ вырвано у нихъ противогосударственными антиполитиками. Это значитъ, что политика требуетъ отбора лучшихъ людей, — прозорливыхъ, отвѣтственныхъ, несущихъ служеніе, талантливыхъ организаторовъ, опытныхъ объединителей. Каждое государство призвано къ отбору лучшихъ людей. Народъ, которому такой отборъ не удастся, идетъ навстрѣчу смутамъ и бѣдствіямъ. Поэтому все то, что затрудняетъ, фальсифицируетъ или подрываетъ политически-предметный отборъ лучшихъ людей

— вредить государству и губить его: всякая властолюбивая конспирація, всякія честолюбиво-партійныя интриги, всякая продажность, всякое политическое кумовство, всякая семейная протекція, всякое привлеченіе государственно-негодныхъ элементовъ къ голосованію, всякое укрывательство, всякое партійное, племенное и исповѣдное выдвиженіе негодныхъ элементовъ... Кто желаетъ истиннаго политическаго успѣха, тотъ долженъ проводить всѣми силами предметный отборъ лучшихъ людей.

И вотъ, то, что этотъ отборъ можетъ и долженъ предложить народу, есть осуществимый оптимумъ въ предѣлахъ общей органической солидарности. Тутъ немедленно возникаетъ рядъ вопросовъ: чего искать? какова наша цѣль? въ чемъ наша всенародная солидарность? какъ осуществлять эту цѣль? какія мѣры необходимы? какіе законы должны быть изданы? и возможно ли немедленно отыскать и осуществить «всеобщую справедливость»? Въ отвѣтъ на эти вопросы необходимо всегда находить и предлагать — наилучшій исходъ изъ осуществимыхъ. Никогда не слѣдуетъ мечтать о максимумѣ и ставить себѣ максимумы задачи: изъ этого никогда ничего не выйдетъ, кромѣ обмана, разочарованія, ожесточенія и демагогіи. Нуженъ не фантастическій максимумъ, а наилучшее изъ осуществимаго (трезвый оптимизмъ!).

Это означаетъ сразу: политика невозможна безъ идеала; политика должна быть трезво-реальной. Нельзя безъ идеала: онъ долженъ осмысливать всякое мѣропріятіе, пронизывать своими лучами и облагораживать всякое рѣшеніе, звать издали, согрѣвать сердца вблизи... Политика не должна брести отъ случая къ случаю, штопать наличныя дыры, осуществлять безъидейное и безпринципное торгашество, предаваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видитъ ясно свой «идеалъ» и всегда сохраняетъ «идеалистическій» характеръ.

И въ то же время она должна быть трезво-реальной. Ея трезвый «оптимумъ» не долженъ покоиться на иллюзіяхъ и не смѣетъ превращаться въ химеру. Но именно сюда ведетъ полное невѣжество массы и слѣпое доктринерство полубразованныхъ демагоговъ; и хуже всего бываетъ, когда такое доктринерство имѣетъ успѣхъ у невѣжественной толпы и когда ему удается закрѣпить свою власть системой террора.

Трезвый и умный «оптимумъ» (наилучшая возможность! наибольшее изъ осуществимаго!) всегда учитываетъ всѣ реальныя возможности даннаго народа, данный моментъ времени, наличныя душевныя, хозяйственныя, военныя и дипломатическія условія. Этотъ оптимумъ долженъ быть исторически-обоснованнымъ, почвеннымъ, зорко-расчитаннымъ, — реализуемымъ. Истинная политика — сразу идеалистична и реалистична. Она всегда смотритъ вдаль, впередъ — на десятилѣтія или даже на столѣтія; она не занимается торгашествомъ по мелочамъ. И въ то же время она всегда отвѣтственна и трезва; и

не считается съ утопіями и противоестественными химерами. Политика безъ идеи оказывается мелкой, пошлой и безсильной; она всѣхъ утомляетъ и всѣмъ надоедаетъ. Политика химеры — есть самообманъ; она растрчиваетъ силы и разочаровываетъ народъ. Истинная же политика имѣетъ крупныя очертанія, она значительна и благодѣтельна; и силы ея возрастаютъ отъ осуществленія; и въ то же время она никого не обманываетъ, но экономитъ силы и поощряетъ народное творчество. Ее судить время; и сужденіе грядущихъ поколѣній всегда оправдываетъ ее.

Для того, чтобы осуществить въ жизни этотъ возможный «оптимумъ», политика нуждается въ возможно-лучшемъ государственномъ устройствѣ и возможно-лучшемъ замѣщеніи правительственныхъ мѣстъ.

Государство есть властная организація; но оно есть въ то же время еще и организація свободы. Эти два требованія, какъ двѣ координаты, опредѣляютъ его задачи и его границы. Если не удастся организація власти, то все распадается въ беспорядкѣ, все разлагается въ анархіи, — и государство исчезаетъ въ хаосѣ. Но если государство пренебрегаетъ свободой и перестаетъ служить ей, то начинаются судороги принужденія, насилія и террора, — и государство превращается въ великую каторжную тюрьму. Вѣрное разрѣшеніе задачи состоитъ въ томъ, чтобы государство почерпало свою силу изъ свободы и пользовалось своей силой для поддержанія свободы. Иными словами — граждане должны видѣть въ своей свободѣ духовную силу, беречь ее и возводить свою духовную свободу и силу къ государственной власти. Свобода гражданъ должна быть вѣрнымъ и могучимъ источникомъ государственной власти.

Власть призвана повелѣвать, и, если нужно — принуждать, судить и наказывать. Въ государствѣ никогда не должна изсякать импонирующая воля; сила его императива должна быть всегда способна настоять на своемъ и вызвать повиновеніе. Но это господство должно непременно обезпечивать гражданамъ свободу, уважать ее и блюсти ее. Внѣшняя дѣятельность государства (устройство порядка, взысканіе налоговъ, законодательство, судъ, администрація, организація арміи) — не есть ничто самостоятельное и не можетъ держаться, какъ чисто-внѣшній процессъ, какъ дѣло «погонщика». Если вся эта дѣятельность становится чисто внѣшнимъ дѣломъ (вынужденія, выжиманія, проталкиванія, приговариванія, наказыванія, «окрики» и казни), — чѣмъ то механическимъ, нажимомъ и прижимомъ, взымающимъ не къ сердцу и духу, а къ страху и голоду (какъ въ тоталитарныхъ государствахъ); — то государство рано или поздно терпитъ крушеніе и разлагается. Ибо на самомъ дѣлѣ государственная жизнь есть выраженіе внутреннихъ процессовъ, совершающихся въ народной душѣ, — инстинктивныхъ влеченій, мотиваций, волевыхъ рѣшеній, импонированія, самовмѣненія, повиновенія, дисциплины, уваже-

нія и патріотической любви. Государство и политика живутъ правосознаніемъ народа и почерпають свою силу и свой успѣхъ именно въ немъ. И здѣсь важно — съ одной стороны правосознаніе лучшихъ людей, съ другой стороны правосознаніе массы, ея средняго уровня. Держится правосознаніе — и государство живетъ; разлагается, мутится, слабѣетъ правосознаніе — и государство распадается и гибнетъ. Правосознаніе же состоитъ по существу своему въ свободной лояльности.

Вотъ почему всякая истинная политика призвана къ воспитанію и организаціи національнаго правосознанія. Это воспитаніе должно совершаться въ свободной лояльности (не въ запугивающемъ рабствѣ!) и приучать гражданъ къ свободной лояльности, т. е. къ добровольному блюденію права. Поэтому настоящій и мудрый политикъ долженъ заботиться о томъ, чтобы государственное устройство и составъ правительства были приемлемы для національнаго правосознанія и дѣйствительно вызвали въ немъ — и сочувствіе и готовность къ содѣйствію. Такъ, если народное правосознаніе мыслить и чувствуетъ авторитарно, то демократическій строй ему просто не удастся. Напротивъ, правосознаніе съ индивидуалистическимъ и свободнымъ укладомъ не вынесетъ тираніи. Нелѣпо навязывать монархическій строй народу, живущему республиканскимъ правосознаніемъ; глупо и губительно вовлекать народъ съ монархическимъ правосознаніемъ въ республику, которая ему чужда и неестественна. Государственное устройство и правленіе суть «функции» внутренней жизни народа, ея выраженія, ея проявленія, ея порожденія: они суть функции его правосознанія, т. е. его духовнаго уклада во всемъ его исторически возникшемъ своеобразіи.

Всякій истинный политикъ знаетъ, что государственная власть живетъ свободнымъ правосознаніемъ гражданъ; поэтому она должна давать этой свободѣ просторъ для здороваго дыханія и выражать эту свободу въ жизни. А народъ призванъ заполнять свою свободу лояльностью и видѣть въ правительствѣ — свое правительство, ограждающее его свободу и творчески поддерживаемое народомъ. Поэтому истинная государственная власть призвана не только «вязать», но и освобождать; и не только освобождать, но и приучать гражданъ къ добровольному самообязыванію. Власть «вяжетъ», чтобы обезпечивать людямъ свободу; она освобождаетъ, чтобы люди учились добровольному подчиненію и единенію.

Однако, государственная власть отнюдь не призвана къ тому, чтобы развязывать въ народѣ злыя силы. Горе народу, если возникнетъ такая власть, — все равно, будетъ ли она освобождать зло по глупости или въ силу порочности. Свобода не есть разнузданіе злыхъ и право на злыя дѣла. Отрицательныя силы должны обуздываться и обезвреживаться; иначе онѣ злоупотребятъ свободой, скомпрометируютъ ее и погубятъ. Зло должно быть связано для того, чтобы добро было свободно и безбоязненно развертывало свои силы. Поэтому

истинная политика властно связывает и упорядочивает жизнь, чтобы тѣмъ освободить и поощрять лучшія силы народа.

Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная политика мудра, осторожна и экономитъ силы народа. Поэтому ей присуще искусство—сдѣлать отрицательныя силы и волевые ихъ заряды и находить для нихъ положительное примѣненіе, указуя злому, завистнику, разрушителю, преступнику, разбойнику, бунтовщику и предателю возможность одуматься и приняться за положительный трудъ...

Такова сущность истинной политики. Таковъ путь, ведущій къ истинному политическому успѣху.

Политика есть искусство свободы, воспитаніе самостоятельно творящаго субъекта права. Государство, презирающее свободную человѣческую личность, подавляющее ее и исключаящее ее — есть тоталитарное государство, учрежденіе нелѣпое, противоестественное и преступное; оно заслуживаетъ того, чтобы распасться и погибнуть.

Политика есть искусство права, т. е. умѣніе создавать ясную, жизненную и гибкую правовую норму. Государство, издающее законы темныя и непонятныя, несправедливыя и двусмысленныя, нежизненныя, педантичныя и мертвыя — подрываетъ въ народѣ довѣріе къ праву и лояльность, развязываетъ произволъ и подкупность въ правителяхъ и судьяхъ и само подрываетъ свою прочность.

Политика есть искусство справедливости, т. е. умѣніе вчувствоваться въ личное своеобразие людей, умѣніе беречь индивидуальнаго человѣка. Государство, несущее всѣмъ несправедливое уравненіе, неумѣющее видѣть своеобразие (т. е. естественное неравенство!) живыхъ людей и потому попирающее живую справедливость, — накапливаетъ въ народѣ тѣ отрицательныя заряды, которые однажды взорвутъ и погубятъ его.

Такова сущность истинной политики. Она творится черезъ государственную власть и потому должна держать это орудіе въ чистотѣ; государственная власть, ставъ безчестной, свирѣпой и жадной — заслуживаетъ сверженія и позорной гибели. Политика даетъ человѣку власть, но не для злоупотребленія и не для произвола; грязный человѣкъ, злоупотребляющій своею властью и произволяющій — является преступникомъ передъ народомъ. Напротивъ, истинный политикъ переживаетъ свое властное полномочіе, какъ служеніе, какъ обязательство, какъ бремя и стремится постигнуть и усвоить искусство властвованія. И пока его искусство не справилось и не нашло творчески-вѣрное разрѣшеніе задачи, и пока онъ самъ не освобожденъ отъ своего обязательства, онъ долженъ нести бремя своего служенія, — отвѣтственно и мужественно, — хотя бы дѣло шло о его личной жизни и смерти. Государственная власть есть не легкая комедія и не маскарадъ, гдѣ снимаютъ маску, когда захочется. Нѣтъ, ей присуща трагическая черта; она каждую минуту можетъ превратиться въ трагедію, которая захватитъ и личную жизнь властителя и общую

жизнь народа. Поэтому истинный политикъ обязанъ рисковать своею жизнью подобно солдату въ сраженіи; и именно поэтому люди робкіе и трусливые не призваны къ политикѣ.

И вотъ истинный политическій успѣхъ до ступень только тому, кто берется за дѣло съ отвѣтственностью и любовью...

Нѣтъ ничего болѣе жалкаго, какъ безсовѣстный и безотвѣтственный политикъ: это человѣкъ, который желаетъ фигурировать, но не желаетъ отдаться цѣликомъ своему призванію; — который въ своей дѣятельности всегда не на высотѣ; — который не умѣетъ расплачиваться своею земною личностью; — который бѣжитъ отъ своей собственной тѣни. Это трусъ по призванію, который не можетъ имѣть политическаго успѣха.

И нѣтъ ничего болѣе опаснаго и вреднаго, какъ политикъ лишенный сердца: это человѣкъ, который лишень главнаго органа духовной жизни; который не любитъ ни своего ближняго, ни своего отечества; — который не знаетъ вѣрности, этого выраженія любви, но способенъ къ ежеминутному предательству; — который съ самаго начала уже предаетъ всякое свое начинаніе; который не имѣетъ ни одного Божьяго луча для управляемой имъ страны; — циникъ по призванію, который можетъ имѣть «успѣхъ» въ личной карьерѣ, но никогда не будетъ имѣть истиннаго политическаго успѣха. Вокругъ его имени можетъ подняться историческій шумъ, который глупцы и злодѣи будутъ принимать за «славу». Вокругъ него могутъ пролиться потоки крови; отъ него могутъ произойти катастрофическія бѣдствія и страданія; но творческихъ путей онъ не найдетъ для своего народа.

Исторія знаетъ такихъ тирановъ; но никакихъ Нероновъ, никакихъ Цезарей Борджіа, никакихъ Маратовъ не чествовали такъ, какъ ихъ чествуютъ нынѣ при жизни и по смерти. Современные люди утратили живое чувство добра и зла; они принимаютъ извращенія за достиженія, низкую интригу за проявленіе ума, свирѣпость за героическую волю, противоестественную утопію за великую міровую «программу». Наши современники за были драгоценныя аксіомы политики, права, власти и государства. Они «отмѣнили» дьявола, чтобы предаться ему и поклониться ему...

И величайшій, позорнѣйшій провалъ міровой исторіи (русскую революцію) они переживаютъ, какъ величайшій политическій успѣхъ.

Но часъ недалекъ и близится отрезвленіе.

Что есть философія?

Если русская философія хочетъ еще сказать что нибудь значительное, вѣрное и глубокое русскому народу и человѣчеству вообще, — послѣ всѣхъ пережитыхъ блужданій и крушеній, — то она должна прежде всего спросить себя, въ чемъ ея призваніе, съ какимъ предметомъ она имѣетъ дѣло и каковъ ея вѣрный путь (методъ)? Она должна возжелать ясности, честности и жизненности. Она должна стать убѣдительнымъ и драгоцѣннымъ изслѣдованіемъ духа и духовности. Если же она не одумается, не перестанетъ подражать иностраннымъ и въ особенности германскимъ образцамъ и не попытается начать свое русское національное дѣло сначала, изъ глубины русскаго національнаго духовнаго опыта, то она скоро окажется мертвымъ и ненужнымъ грузомъ въ исторіи русской культуры...

И прежде всего русскіе философскіе мыслители должны отказаться отъ намѣреннаго выдумыванія «философскихъ системъ». Философъ вообще не обязанъ выдумывать и преподавать какую то «систему». Это чисто нѣмецкій предразсудокъ, отъ котораго давно пора освободиться. Эта задача принадлежитъ къ нимъ и въ задачамъ культуры и не слѣдуетъ воображать, будто она «сама собой подразумевается»... Одно изъ двухъ: или философія есть произведеніе личной фантазіи, развивающее субъективную точку зрѣнія; тогда она не обязана брать на себя задачу — создавать законченно-закругленную и внутренне-непротиворѣчивую «систему»; напротивъ, каждый получаетъ право фантазировать, слѣдуя своей способности и склонности. Или же философія есть предметно-связанное изслѣдованіе съ предметно-обоснованными выводами, и тогда она совсѣмъ не имѣетъ права навязывать себѣ систематическую стройность и логическую непротиворѣчивость; тогда каждый философствующій обязанъ неуклонно и неумолимо испытывать изслѣдуемый предметъ и такъ описывать, излагать, изображать его, какъ онъ есть въ дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, откуда мы могли бы знать съ самаго начала, что предметъ, который мы всю жизнь испытываемъ и изслѣдуемъ, — самъ по себѣ систематиченъ и живетъ по законамъ нашей человѣческой логики? Кто далъ намъ право выдавать максимальныя требованія нашего разсудочнаго раціонализма за законы бытія самого предмета? Откуда эта увѣренность, что предметъ

философіи дѣйствительно живеть и дѣйствуетъ такъ, какъ мы этого напрасно добиваемся отъ нашего раціоналистическаго міросозерцанія? Возможно и вѣроятно, что предметъ философіи разумень, но онъ можетъ быть разумень такой Разумностью, по сравненію съ которой наша обычная «разумность» есть сплошное неразуміе... И, правда, сущее бытіе предмета не обязано повиноваться нашему разсудочному мышленію... Наоборотъ, помысленная нами «истина» должна сообразоваться съ «истиннымъ бытіемъ предмета», а не обратно; а это «истинное бытіе» безконечно глубже, живѣе, обширнѣе и богаче, чѣмъ выдумываемыя нами «системочки». Смѣшно думать, что шапка захочетъ опредѣлять форму головы по своему размѣру... Что за притязательность — предуказывать духовному предмету формы человѣческаго ума!...

Итакъ философъ совсѣмъ не призванъ «выдумывать систему». Достаточно, если онъ сдѣлаетъ все возможное, чтобы предметно созерцать и мыслить. А систематическій строй онъ долженъ спокойно предоставить самому предмету: если его предметъ въ самомъ дѣлѣ есть «система», то его философія вѣрно передастъ и изобразитъ ее; но если предметъ есть безсвязная совокупность, то это обнаружится и въ его предметной философіи. Изслѣдующій философъ не смѣетъ повелѣвать предмету; онъ не смѣетъ и искажать его въ своемъ изображеніи. Философъ, воображающій себя «бухгалтеромъ», наводящимъ порядокъ, или унтер-офицеромъ, выстраивающимъ шеренгу понятій, — смѣшонъ и жалокъ. Онъ не смѣетъ предвосхищать и предопредѣлять тотъ Божій даръ, который дается ему для изслѣдованія, будь то «міръ», или «природа», или «исторія», или «духъ», или «искусство»... Онъ не можетъ «указывать» своему предмету; ему не дано «знать заранѣе», или «знать лучше»; онъ не призванъ починаить разрывы или несогласованности предмета своими раціоналистическими выдумками. Сколько искаженій было внесено въ философскія изслѣдованія такими притязательными затѣями! Какъ много произвольныхъ «опредѣленій» и пустихъ «конструкцій» возникло изъ этого!...

Поэтому русскіе философы, желающіе сказать свое вѣрное и вѣское изслѣдовательское слово, должны отдѣлаться отъ навязчивой идеи «философской системы». Надо честно, отвѣтственно и предметно изслѣдовать, а не выдумывать и не «конструировать». Надо осуществлять и совершенствовать философскій опытъ и философское созерцаніе, а не создавать въ дедуктивномъ порядкѣ выдуманное отвлеченное «зданіе». Въ философіи дѣйствуетъ, какъ и во всѣхъ областяхъ знанія, законъ изслѣдованія: самое легкое, самое непроизводительное, и наиболѣе импонирующее множеству обывателей — есть дедукція (выведеніе системы изъ общаго логическаго понятія или закона); самое трудное, самое скромное и творчески-значительное, что дѣлаетъ человѣка настоящимъ изслѣдователемъ, — есть созерцающая индукція (опытное описаніе предмета въ его единичныхъ обнаруженіяхъ). Философъ призванъ переживать свой предметъ въ его объективной

реальности, провѣрять пережитыя имъ содержанія, описывать ихъ и показывать другимъ людямъ. При этомъ онъ остается изслѣдователемъ, совершенно независимо отъ того, излагаетъ ли онъ свои познанныя содержанія въ терминахъ профессиональной философіи со множествомъ «цитатъ» и «примѣчаній», или въ простомъ облаченіи повседневныхъ словъ, не затрудняя читателя импонирующимъ «подваломъ» примѣчаній, подчеркивающихъ «богатые познанія» мелкимъ шрифтомъ («петитомъ»).

Вопросъ о томъ, есть ли философія — наука, не стоитъ разрѣшать ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Если она есть наука, — а она можетъ быть наукой, — то это наука, требующая отъ человѣка особаго духовно-религіознаго опыта, и особаго описательнаго художества. Но намъ достаточно здѣсь установить, что философъ поступаетъ правильно и умно, если онъ разсматриваетъ свою работу, какъ изслѣдованіе, и тѣмъ самымъ принимаетъ на себя отвѣтственность изслѣдователя, волю къ предметности и бремя доказательства. Пусть онъ только не заботится о томъ, что изъ этого выйдетъ: «монизмъ», «дуализмъ» или «плюрализмъ», «реализмъ» или «идеализмъ», «раціонализмъ» или «интуитивизмъ»... Объ этомъ впоследствии будутъ вкривь и вкосъ судить и объ являть его критики, его историки, или составители надгробныхъ рѣчей... хотя будетъ еще лучше, если они объ этомъ помолчатъ... ибо дѣло не въ этомъ, а въ предметной вѣрности его изслѣдованій. Пусть онъ только требуетъ отъ себя изслѣдовательской честности и точности, и пусть помнитъ свою духовную отвѣтственность передъ Всевышнимъ и передъ своимъ народомъ...

Это означаетъ, что есть особый философскій опытъ и что этотъ опытъ надо понять и усвоить, а затѣмъ осуществлять его, укрѣплять его и культивировать. Что же это за опытъ и какими силами человѣка онъ осуществляется?

Указать эти силы значить опредѣлить «строеніе философскаго акта», т. е. установить, что именно человѣкъ долженъ внутренне дѣлать съ данными ему отъ природы способностями.

Строеніе философскаго акта не однородно въ разныхъ областяхъ философіи; напротивъ, философскій изслѣдователь долженъ съ самаго начала примириться съ тѣмъ, что ему придется примѣнять силы и способности своего существа въ разнообразныхъ сочетаніяхъ и приспособлять ихъ съ гибкостью и чуткостью — сообразуясь съ требованіемъ самого предмета. А предметъ философіи дается ему въ своеобразныхъ и различныхъ обличіяхъ.

Философу всюду дается его предметъ, гдѣ у него есть ощущеніе, что его касается Божій лучъ, требующій отъ него воспріятія и познанія. «Эвристически», т. е. въ дѣлѣ и сканіяхъ и нахожденіяхъ, это ощущеніе должно руководить имъ, несмотря на то, что въ дальнѣйшемъ испытаніи и изслѣдованіи можетъ оказаться, что это ощущеніе было лишь иллюзіей. Однако, оно можетъ быть и совсѣмъ не иллюзіей и тогда ему удаст-

ся установить, что Божій лучъ въ самомъ дѣлѣ дается людямъ на различныхъ путяхъ и различнымъ способомъ. Всѣ такія подлинныя явленія и переживанія могутъ быть обозначены словами «духъ» или «духовность». И вотъ духъ «дышитъ» въ природѣ, въ человѣкѣ, а также въ томъ, что самъ человѣкъ создаетъ съ Божіей помощью. Такъ, напримѣръ, начало «духа», — этотъ сушій предметъ философіи, — раскрывается намъ въ цвѣткѣ, и въ горной цѣпи. Мы переживаемъ его и въ состояніи очевидности, несущей намъ созерцаемую истину. Оно овладѣваетъ нами въ переживаніи истинной любви и совѣсти. Оно открывается намъ въ видѣніяхъ художественнаго искусства, создаваемого самимъ человѣкомъ. Мы внемлемъ ему, постигая свою свободу и переживая зовы правосознанія и патріотизма. Оно сіяетъ намъ изъ источниковъ религіознаго откровенія. И каждый разъ оно требуетъ отъ насъ опытнаго акта съ другимъ строеніемъ; и мы должны каждый разъ осуществлять такой актъ съ чувствомъ отвѣтственности и съ великимъ тщаніемъ.

Тотъ, кто желаетъ изслѣдовать познаніе истины и установить, что есть вѣрное знаніе предмета, — посвящаетъ себя проблемѣ очевидности и приступаетъ къ теоріи познанія; онъ долженъ осуществить и накопить обширный и разносторонній опытъ очевидности. Человѣкъ, никогда не переживавшій очевидности, не знающій какъ слагается и провѣряется это своеобразное переживаніе и какъ оно внутренне «выглядитъ», — создастъ въ теоріи познанія только игру мертвыми понятіями и пустыя конструкции. Къ тому же очевидность дается человѣку совсѣмъ не въ одномъ теоретическомъ мышленіи. Она переживается въ религіи иначе, чѣмъ въ наукѣ; она слагается въ искусствѣ на другихъ путяхъ, чѣмъ въ нравственной жизни; да и въ различныхъ наукахъ актъ очевидности имѣетъ различное строеніе (напр. въ логикѣ, въ математикѣ, въ химіи, въ астрономіи, въ исторіи, въ юриспруденціи, въ филологіи). Во всякомъ случаѣ внѣ этого реально пережитого и неотомимо собираемаго опыта очевидности, теорія познанія мертва и пуста. Философъ, не выносившій духовной культуры и не работавшій въ качествѣ изслѣдователя ни въ одной наукѣ, а можетъ быть вообще отрицающій актъ очевидности (въ качествѣ скептика, агностика или нигилиста), — непріемлемъ и невыносимъ въ качествѣ гносеолога (т. е. теоретика познанія), сколько бы тысячъ страницъ онъ ни прочелъ, ни написалъ и ни напечаталъ на традиціонномъ, профессиональномъ жаргонѣ отвлеченной мысли. Ибо актъ очевидности требуетъ отъ изслѣдователя — дара созерцанія и притомъ многообразнаго созерцанія, способности къ вчувствованію, глубокаго чувства отвѣтственности, искусства творческаго сомнѣнія и вопрошанія, упорной воли къ окончательному удостовѣренію и живой любви къ предмету.

Итакъ, философъ долженъ воспитать себя къ духовной очевидности.

Подобно этому, тотъ, кто желаетъ въ качествѣ изслѣдователя обратиться къ нравственности, добродѣтели и добру, долженъ прежде всего углубить и расширить свой нравственный опытъ. Нравственность не можетъ быть ни постигнута, ни изображена въ отвлеченныхъ построенияхъ и спекуляціяхъ; здѣсь дѣло совѣмъ не сводится къ теоретическимъ соображеніямъ и опредѣленіямъ понятій. «Нравственное» должно быть реально пережито изслѣдователемъ. Философъ, разсуждающій о любви, о радости, о добродѣтели, о долгѣ, о добрѣ и злѣ, о силѣ воли, о свободѣ воли, о характерѣ и другихъ подобныхъ предметахъ — по чужимъ книгамъ или по наслышкѣ, не познаётъ ничего, онъ только воображаетъ что-то о какихъ-то духовныхъ «кокаменѣлостяхъ» или «муміяхъ».

Нравственный опытъ требуетъ всего человѣка: онъ дается въ его любви, въ его страстяхъ, въ его рѣшеніяхъ и дѣяніяхъ. Человѣкъ долженъ отдать этому опыту всю свою личность — свою жизненную силу, свой жизненный успѣхъ, свою судьбу. Онъ долженъ предстать предъ своей совѣстью; онъ долженъ предаться ей и дѣятельно зажить изъ нея; осуществляя эти дѣянія, онъ долженъ увидѣть передъ собою угрозу для жизни, взглянуть въ глаза смерти и преодолѣть свой страхъ смерти. Нравственный опытъ не дается тому, кто сидитъ неподвижно въ своей комнатѣ, кто предается празднымъ фантазіямъ, кто является «дезертиромъ» своего призванія и своего долга. Кто хочетъ написать «этику», тотъ долженъ имѣть за собою живой опытъ любви, борьбы и страданій; онъ долженъ знать, что значить отчаиваться и въ отчаяніи молиться, и еще, что значить имѣть жизненный успѣхъ и въ успѣхѣ соблюдать скромность и смиреніе. Онъ долженъ пережить въ собственномъ опытѣ дивную, — скывающую и освобождающую, укореняющую и очистительную силу совѣстнаго акта; онъ долженъ знать, что совѣстный человѣкъ рискуетъ всѣмъ, идетъ на смерть и, если бываетъ спасенъ, то самъ изумляется этому больше всѣхъ. Только тому, кто переживаетъ это все, и другое, связанное съ этимъ, — только ему откроется нравственное измѣненіе вещей и людей, только онъ пойметъ «предметъ этики».

Итакъ, философъ долженъ воспитать себя къ акту совѣсти.

Согласно этому, изслѣдователь, посвящающій себя философіи искусства, долженъ пріобрѣсти въ этой сферѣ обширный и глубокий опытъ созерцанія. Здѣсь особенно важно пробиться черезъ чувственно-формальную кору виѣшняго эстетическаго явленія, открыть себѣ доступъ къ органической сопринадлежности зрѣлыхъ образовъ искусства и убѣдиться въ томъ, что субъективный вкусъ отнюдь не есть послѣднее слово въ оцѣнкѣ произведеній искусства. При этомъ очень важно, чтобы философъ самъ какимъ нибудь способомъ участвовалъ въ художественномъ творествѣ: его опытъ получить совѣмъ иной видъ и иное значеніе, если онъ попытается самостоятельно пережить процессъ

«замысла», вынашиванія, борьбы за идею предмета, облеченія ея въ ткань образовъ и обрѣтенія художественной формы, ибо тогда онъ будетъ созерцать искусство не только «извнѣ», но и «изнутри». С н о б ъ, рассматривающій искусство формально, никогда не станетъ ф и л о с о ф о м ъ и с к у с с т в а; холодное наблюденіе и погоня за возбуждающимъ, дразнящимъ, угодливымъ, популярнымъ, невиданнымъ — никогда не замѣнитъ художественнаго опыта. Искусство есть возвышенное служеніе человѣческому духу и чистая радость Божественному. Поэтому изслѣдованіе искусства, осуществляемое философомъ, предполагаетъ долгую аскетическую работу надъ своимъ собственнымъ вкусомъ, который долженъ быть облагороженъ; онъ предполагаетъ далѣе чуткое религіозное сердце и цѣлую культуру вчувствованія и созерцающей мысли.

Итакъ, философъ долженъ воспитать себя къ х у д о ж е с т в е н н о м у с о з е р ц а н і ю и о п ы т у.

Это пріобрѣтаетъ особое значеніе въ области р е л и г і о з н о й ф и л о с о ф і и. Здѣсь изслѣдователь долженъ выносить настоящій религіозный опытъ, живое религіозное созерцаніе, которое позволитъ ему вчувствоваться въ каждый чужой религіозный опытъ, какъ подлинный, такъ и мнимый, сопережить его и провѣрить. Невѣрующій изслѣдователь, лишенный религіозности, соберетъ въ лучшемъ случаѣ, на подобіе Вильяма Джемса, мертвую коллекцію чужихъ переживаній. За то фанатически-вѣрующій человѣкъ, склонный къ религіозной исключительности, нетерпимый и презрительный, поступитъ правильно, если онъ ограничится дедуктивнымъ вѣроисповѣднымъ богословіемъ и оставитъ въ покоѣ до неизмѣримости обширное поле чужихъ («ложныхъ») религіозныхъ ученій. Ибо изслѣдователь въ области философіи религіи нуждается въ особомъ созерцаніи чужихъ (особенно ложныхъ и извращенныхъ) религіозныхъ воззрѣній: это созерцаніе должно быть терпимымъ, способнымъ къ вчувствованію, психологически гибкимъ и спокойно-мудрымъ, ибо только тогда оно откроетъ ему доступъ въ тѣ сокровенныя глубины, гдѣ у людей зарождаются религіозныя воззрѣнія, и къ тому дивному многообразію, въ которомъ человѣчество воспринимаетъ и преломляетъ даруемые ему Божіи лучи. Не можетъ изслѣдовать свѣтовые и красочные оттѣнки человѣкъ, не видящій цвѣта; что онъ скажетъ объ ихъ необычайномъ, не имѣющемъ на человѣческомъ языкѣ названій, богатствѣ, если онъ самъ воспринимаетъ только одинъ единственный цвѣтъ, а остальные оттѣнки отвергаетъ, какъ «ложные»? Сердце Божіе больше и шире, чѣмъ вѣроисповѣдное ученіе, ибо оно не только терпитъ иныя исповѣданія, но еще и вѣдаетъ, что единое-истинное исповѣданіе не всѣмъ народамъ по силамъ и что скудному духу лучше имѣть хоть какое-нибудь Бого-созерцаніе, чѣмъ никакого... Вотъ почему философія религіи требуетъ т е р п и м о с т и, ч у т к о с т и и с е р д ц а.

И, конечно, прежде всего — самостоятельнаго и подлиннаго р е л и г і о з н а г о о п ы т а.

Понятно, наконецъ, что и философъ права долженъ найти свой особый опытъ и предметъ, и вступить съ нимъ въ непосредственное, изслѣдовательское общеніе; а для этого онъ долженъ выносить вѣрный опытный актъ и систематически осуществлять его. Этотъ актъ можно было бы обозначить, какъ здоровое и нормальное правосознаніе. Сущность этого акта и его возникновеніе могутъ быть описаны такъ. Каждому человѣку присущъ инстинктъ самосохраненія со всѣми его страстями и притязаніями, инстинктъ неискоренимый и жизненно необходимый. Но притязанія его должны имѣть свой предѣлъ и признавать его. Этотъ предѣлъ ставить имъ личный духъ человѣка, важнѣйшая и драгоцѣнная сила человѣческой личности, придающая смыслъ и указующая цѣль нашей жизни. И вотъ инстинктъ призванъ не враждовать съ духомъ, а принимать его законъ и добровольно подчиняться ему. Въ зрѣломъ видѣ душа человѣка и обнаруживаетъ добровольную законопослушность, или, что то же, «автономную волю къ свободной лояльности». Эта воля и есть живая основа правосознанія. Такимъ образомъ въ жизни свободного правосознанія участвуютъ всѣ силы человѣческаго существа: творческій инстинктъ, любовь и уваженіе къ ближнимъ, любовь къ родинѣ, созерцаніе, испытующее духовныя глубины, лояльная воля и формулирующая мысль; все это — въ жизненномъ и жизнеустраивающемъ сплетеніи и притомъ укорененное въ духѣ, который всегда и во всемъ требуетъ отъ человѣка самаго лучшаго. Три великія аксіомы лежатъ въ основѣ здороваго правосознанія: чувство собственнаго духовнаго достоинства, способность свободного человѣка къ самоуправленію и взаимное уваженіе и довѣріе людей другъ къ другу. На этихъ основахъ и будетъ построено правосознаніе грядущей Россіи.

Ясно, что и философія права невозможна безъ предметнаго правового опыта.

Итакъ, въ общемъ и цѣломъ, такъ же, какъ и во всѣхъ своихъ отвѣтвленіяхъ, философія есть наука, вырастающая изъ духовнаго опыта. И первая задача ея состоитъ въ томъ, чтобы растить и крѣпить свой опытный актъ. Однажды Сократъ поставилъ древнему міру вопросъ: изучима ли и опредѣлима ли добродѣтели? Этотъ вопросъ сохраняетъ и нынѣ все свое значеніе и притомъ для всей философіи. И отвѣтъ, который онъ имѣлъ въ виду и который онъ пытался вложить своимъ слушаателямъ въ сердце, имѣлъ такое же значеніе, какъ и самый вопросъ: человѣкъ сможетъ лишь постольку изслѣдовать сущность добродѣтели, поскольку онъ самъ будетъ ею жить и ее осуществлять. Въ этомъ смыслѣ можно было бы сказать: человѣкъ, утверждающійся въ духѣ, является для себя мѣрою всѣхъ духовныхъ «вещей». Иными словами: философъ, желающій успѣшно изслѣдовать свой предметъ, долженъ реально-опытно переживать его и тѣмъ самымъ осуществлять его. Иначе онъ не можетъ и не смѣетъ: онъ долженъ превратить свою душу и свою жизнь

въ органъ своего предметнаго опыта. Только ставши самъ орудіемъ духа, онъ сможетъ испытать и познать сущность духа. А это означаетъ, что профессиональный философъ обязуется постоянно и неутомимо работать надъ очищеніемъ своей души (катарсисъ).

Онъ долженъ вести всежизненную борьбу за достиженіе своего предмета, или, иными словами, онъ долженъ воспитать себя къ тому, чтобы предметъ сталъ ему доступенъ.

Такъ, онъ долженъ очищать и укрѣплять свою очевидность, провѣрять и удостовѣрять ее; онъ долженъ усвоить аскезъ силы сужденія; онъ долженъ изодрить свое созерцаніе и придать ему точность; онъ долженъ овладѣть своими страстями; придать своему воспріятію гибкость, приспособимость и многообразие; онъ долженъ стремиться къ законченности и добиваться окончательнаго.

Далѣе, онъ долженъ укрѣплять свой совѣстный актъ и удостовѣряться въ его вѣрности и силѣ, довѣрять ему, очищать свою душу ради него и предаваться ему. Онъ долженъ дѣйствовать въ жизни по совѣсти и изъ совѣсти, въ его лучахъ воспитать въ себѣ духовный характеръ.

Онъ долженъ воспитывать и очищать свое эстетическое созерцаніе и свой художественный вкусъ. Въ каждомъ произведеніи искусства онъ долженъ научиться искать и находить его сокровенно-явленный смыслъ. Онъ долженъ приучать себя блюсти аскезъ своего эстетическаго сужденія и до тѣхъ поръ упражняться въ художественномъ отождествленіи съ лучшими произведеніями искусства, пока искусство не станетъ для него «языкомъ боговъ» или, лучше сказать, Божиимъ іероглифомъ.

Въ религіи онъ долженъ научиться созерцанію и молитвѣ. Молитва дастъ ему духовное укорененіе, а оно научить его отвергать и опровергать всѣ аналитическіе, скептическіе, нигилистическіе и издѣвательскіе аргументы безбожія. Онъ долженъ пережить въ своемъ сердцѣ дѣйствіе Божьяго огня и пріобрѣсти на всю жизнь нѣкій раскаленный уголь вѣры. Этотъ уголь раскроетъ передъ нимъ живую сущность религіи и подаритъ ему живой органъ для пониманія всѣхъ религій міра.

Наконецъ, онъ долженъ растить, крѣпить, очищать и углублять свое правосознаніе. Онъ долженъ поставить его въ лучъ Божій и отыскать его послѣдніе, благороднѣйшіе и чистые истинники; а религіозность заставить его подчинить все это волю къ совершенству. Онъ долженъ ввести свое правосознаніе въ непосредственную жизнь, дѣйствовать изъ него, громко исповѣдывать его природу, вести за него борьбу и научиться толковать его интуиціи и осуществлять его требованія. Онъ долженъ отдать себя въ его распоряженіе и стать его вѣрнымъ орудіемъ.

Таковъ настоящій путь (или «методъ») философа. На этомъ пути обновится и расцвѣтетъ будущая русская философія и тогда она перестанетъ праздно умствовать и предаваться со-

блзнительнымъ конструкціямъ. Основное правило этого пути гласить такъ: сначала — б ы т ь, потомъ — д ѣ й с т в о в а т ь и лишь затѣмъ изъ осуществленнаго бытія и изъ отвѣтственнаго, а можетъ быть и опаснаго, и даже мучительнаго дѣланія — ф и л о с о ф с т в о в а т ь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

15. О свободѣ.

Современный человѣкъ не вѣритъ ни во что и сомнѣвается во всемъ — сомнѣніемъ безразличнымъ и безплоднымъ; и потому все, чего коснется его сомнѣніе, теряетъ для него свою цѣнность. Такъ онъ сомнѣвается и въ свободѣ; и вслѣдствіе этого онъ предастъ ее и лишается ея.

Но мы не сомнѣваемся въ свободѣ и знаемъ достоверно и точно, почему она намъ необходима: безъ нея нѣтъ путей къ достойной жизни, къ духу и къ Богу.

Пока человѣкъ пользуется свободой, онъ мало думаетъ о ней. Онъ дышитъ, живетъ и наслаждается ею; онъ непосредственно плыветъ въ ея легкомъ потокѣ. Свобода подобна воздуху: человѣкъ дышитъ воздухомъ, не думая о немъ. Воздухъ какъ будто бы самъ вдыхается и самъ покидаетъ насъ, все время вливаясь и изливаясь. Мы вспоминаемъ о немъ обычно лишь тогда, когда его не хватаетъ, когда онъ становится тяжелъ или смраденъ, — когда человѣкъ начинаетъ задыхаться. Тогда мы вспоминаемъ, иногда съ мгновенно охватывающимъ насъ ужасомъ, что безъ воздуха нельзя жить, что мы забыли о немъ и не дорожили имъ, что онъ безусловно необходимъ, что начинается гибель. . .

Такъ обстоитъ и со свободой. Человѣкъ не можетъ жить безъ нея; она безусловно необходима ему подобно воздуху. . . Почему?

Потому что человѣкъ можетъ любить — только свободно. Ибо настоящая любовь — искренна и цѣльна, не вынуждена и нелицемѣрна; она свободно возникаетъ и свободно дышитъ . . . или же она не возникаетъ совсѣмъ и замѣняетъ ее тогда нечѣмъ. . . Кто любилъ, тотъ знаетъ это по собственному опыту. И потому можно съ увѣренностью сказать, что человѣкъ, презирающій чужую свободу и подавляющій ее, не знаетъ, что такое любовь: у него черствое и мертвое сердце.

Только свободно можно вѣровать и молиться. Ибо настоящая, живая вѣра всегда захватываетъ самую послѣднюю глубину души, куда не проникаютъ никакіе чужіе повелѣнія и запреты, гдѣ человѣкъ самостоятельно созерцаетъ, видитъ, любитъ и вѣруетъ: гдѣ онъ свободенъ. Если же этого нѣтъ, то вѣра его неискренна и называть ее вѣрою совсѣмъ не слѣдуетъ. Молитва вѣрующаго подобна глубокому вздоху, или пѣнію сердца или священному пламени: она вздыхаетъ, поетъ и горитъ сама и предписать ее невозможно. . . Поэтому надо

признать, что человекъ, подавляющій свободу вѣры и молитвы, — кто бы онъ ни былъ самъ: безбожникъ или «религіозный» фанатикъ, — не вѣдаетъ самъ ни молитвы, ни вѣры; въ немъ «нѣтъ Бога» и ждать отъ него добра — дѣло безнадежное.

Подобно этому — мыслить и изслѣдовать человекъ можетъ только свободно: потому что настоящее мышленіе самостоятельно и всякое подлинно-научное изслѣдованіе самодѣятельно; оно не терпитъ навязаннаго авторитета и не можетъ двигаться по предписанію и запрету. Навязанный образъ мысли — убиваетъ мышленіе, такъ что отъ него остается только словесная видимость. «Слѣпое изслѣдованіе» — есть живое противорѣчіе, научная невозможность. Именно поэтому человекъ мысли признаетъ за другими право на глупость и на заблужденіе: ибо онъ бережетъ свободу, какъ необходимое и драгоцѣнное жилище, въ которомъ потомъ однажды поселится умная истина. Напротивъ, кто насаждаетъ рабски-подражательный трафаретъ, тотъ не понимаетъ природу мысли; онъ далекъ и отъ истины и отъ ума.

Для того, чтобы человекъ пережилъ очевидность и приобрѣлъ убѣжденіе — ему необходима свобода; только свободное убѣжденіе имѣетъ духовную силу и жизненный вѣсъ; только оно захватываетъ послѣднюю глубину личности; только оно формируетъ характеръ человека; только оно можетъ быть вѣрнымъ даже до смерти... Кто этого не разумѣетъ, кто считаетъ возможнымъ навязывать людямъ убѣжденія, тотъ никогда не переживалъ очевидности и не шелъ дальше слѣпой одержимости.

Всякое творчество человека требуетъ свободы: — добровольнаго самовложенія, созерцающей инициативы, личнаго почина, любви и вдохновенія. Творчество возникаетъ изъ внутренняго, нестѣсненнаго, таинственнаго побужденія, въ которомъ участвуетъ самъ индивидуальный инстинктъ и которымъ руководить самъ личный духъ. Эта личная инициатива драгоцѣнна во всѣхъ сферахъ культуры — въ искусствѣ и въ хозяйствѣ, въ наукѣ и въ политикѣ, въ воспитаніи и во всякой жизненной борьбѣ.

Всякое человѣческое творчество возникаетъ изъ лишеній и изъ страданія и всякое созданіе культуры есть преодоленное и оформленное страданіе человека. Для того, чтобы это преодоленіе состоялось, человекъ долженъ самъ принять свое страданіе, самъ искать выхода, самъ созерцать, молиться, очищать и просвѣтлять свое сердце. Никто не можетъ замѣнить его въ этомъ; и помощь извнѣ можетъ придти только въ видѣ совѣта, а не въ видѣ предписанія и запрещенія. Нѣтъ творчества безъ свободы. И тотъ, кто не понимаетъ этого, тотъ никогда ничего не творилъ и не испытывалъ вдохновенія.

Только свободно можетъ человекъ пережить актъ совѣсти: раскрыть свое сердце, внять совѣстному зову, принять его волею и осуществить его поступкомъ. Этотъ драгоцѣнный актъ не можетъ быть ни запрещенъ, ни предписанъ. Онъ сразу — духовенъ и органически цѣленъ, таинственно глубоко и

инициативно-самодѣятеленъ. Нарушить его свободу значитъ попытаться лишить человѣка совѣсти, а къ этому способны только безсовѣстные люди. . .

Но любовь, вѣра и молитва, мышленіе и изслѣдованіе, очевидность и духовный характеръ, творческое вдохновеніе и актъ совѣсти, — развѣ это не важнѣйшее въ жизни человѣка, развѣ не въ этомъ смыслъ его земной жизни? Развѣ не этимъ творится культура? Конечно, именно этимъ!

Но тогда жизнь человѣка безъ свободы — б е з с м ы с л е н а на или невозможна. Такъ это и есть на самомъ дѣлѣ. Все духовное и великое возникаетъ въ жизни — таинственнымъ образомъ изъ себя самого и черезъ самого себя: таинственно загорается въ существахъ пламя жизни, вложенное Богомъ; свободно разгорается оно, стремясь ввысь, къ Богу. Такъ воспламеняется любовь; такъ человѣкъ молится; такъ творится искусство; такъ строится наука; такъ преодолеваются духовные кризисы; такъ крѣпнеть духовный характеръ человѣка; такъ совершаются героическіе поступки. . .

Это необходимо понять, въ этомъ необходимо удостовѣриться разъ навсегда: предписанное мышленіе есть мнимое мышленіе, есть симуляція мысли, безотвѣтственное пустословіе. Вынужденная любовь есть несостоявшаяся любовь. Навязанная молитва, произносимая безъ участія свободнаго сердца, есть жалкая видимость молитвы, лицемѣріе, пытающееся обмануть людей и Бога. Лишенный свободы, человѣкъ духовно мертвѣетъ и только осуществляетъ предписанную ему пошлость: онъ ведетъ жизнь раздвоенную, безсильную и неискреннюю; ему нельзя довѣрять, на него нельзя полагаться; онъ живетъ обманомъ и самообманомъ; и всю жизнь стоитъ на канунѣ предательства. Или же, — въ лучшемъ случаѣ, — его здоровый инстинктъ и его живой духъ покидаютъ сферу внѣшняго лицемѣрія и уходятъ въ душевную глубину, создавая себѣ тамъ катакомбную жизнь, гдѣ онъ блюдетъ свои свободныя побужденія и слѣдуетъ голосу свободнаго вдохновенія. . .

Такъ обстоитъ во всей человѣческой жизни, не только въ духовной культурѣ, но и въ хозяйствѣ. Только свободный трудъ не унижаетъ человѣка, и именно поэтому онъ продуктивенъ и созидателенъ; только невынужденное, добровольное, радостное прилежаніе можетъ быть признано инстинктивно-здоровымъ и духовно-вѣрнымъ дѣломъ. Принужденіе ни въ чемъ не можетъ замѣнить свободнаго интереса и творчества. Всѣ подобныя попытки — безнадежны, гдѣ бы онѣ ни возникали и какія бы цѣли онѣ ни преслѣдовали.

И кто этого не знаетъ и не понимаетъ, тотъ однажды убѣдится въ этомъ на собственномъ, вѣроятно мучительномъ опытѣ; ибо всякое уклоненіе отъ законовъ духа и природы наказуется страданіемъ.

Двѣ великія опасности грозятъ человѣческой свободѣ: во-первыхъ, недооцѣнка свободы, ведущая къ легкомысленному отреченію отъ нея; и во-вторыхъ, злоупо-

требленіе свободою, ведущее къ разочарованію въ ней и утратѣ ея.

Это можетъ случиться съ каждымъ человѣкомъ и съ каждымъ народомъ, что онъ недооцѣнитъ здоровую и благословенную свободу, или же впадетъ въ преувеличеніе и необузданность и злоупотребитъ ею. Тогда онъ потеряетъ ее. Въ этомъ еще нѣтъ позора; но это есть великая ошибка, которая ведетъ къ бѣдѣ, а можетъ привести и къ позору. Тогда начинается добровольное или недобровольное порабощеніе, которое можетъ длиться долго и привести къ сущей, — личной или всенародной, — трагедіи; тогда придется пройти суровый путь — страданія, терпѣнія, наученія и освобожденія.

Тотъ, кто теряетъ свободу вслѣдствіе легкомысленной недооцѣнки ея, сначала, можетъ быть, не замѣтитъ своей утраты и своего лишенія; но потомъ начнутся униженія и лишенія и ему придется страдать до тѣхъ поръ, пока онъ не осознаетъ, чего онъ лишился, и не встоскуется по свободѣ. Однако вернуть потерянную свободу не легко; необходима борьба за нее; надо понять смыслъ полученнаго жизненнаго урока, понять неизбежность борьбы и подготовиться къ ней. Избавленіе придетъ только тогда, когда порабощенный почувствуетъ, что ему свобода дороже жизни; когда онъ пойметъ, что свободу надо цѣнить, какъ воздухъ, и что злоупотреблять ею нельзя. Тогда подъ гнетомъ принужденія вспыхнетъ подлинная жажда свободы; инстинктивная потребность и духовная воля соединятся для этой борьбы и въ человѣкѣ созрѣетъ способность — не только добиться свободы, но закрѣпить ее въ достойныхъ формахъ для вѣрнаго жизненнаго наполненія...

Свобода не просто «даруется» сверху; она должна быть принята, взята и вѣрно осуществлена снизу. Дарованая сверху, она можетъ стать «напраснымъ даромъ»: внизу ее недооцѣняютъ, невѣрно истолкуютъ и употребляютъ во зло. Человѣкъ долженъ понять ея природу: ея правовую форму, ея правовые предѣлы, ея взаимность и совмѣстность, ея цѣль и назначеніе; мало того, онъ долженъ созрѣть до того, чтобы вѣрно осознать ея нравственныя и духовныя основы. Если этого не будетъ, то онъ превратитъ свободу въ произволъ, въ «войну всѣхъ противъ всѣхъ» и въ хаосъ. И трагедія ея утраты начнется сначала.

Свобода есть духовный воздухъ для человѣка; но для недуховнаго человѣка она можетъ стать соблазномъ и опасностью. Культура безъ свободы есть мнимая культура, праздная видимость ея; но некультурный человѣкъ обычно воспринимаетъ ее, какъ «право на разнузданіе» или какъ призывъ къ произволу. Народы медленно созрѣваютъ къ истинной свободѣ. И исторія человѣчества подобна безконечному круговороту порабощенія, страданія, терпѣнія и освобожденія.

А мы, наблюдая этотъ трагическій круговоротъ, не сомнѣваемся въ свободѣ, ибо мы вѣрно и точно понимаемъ ея духовный смыслъ.

16. О добрѣ.

Чтобы оцѣнить доброту и постигнуть ея культурное значеніе, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять лучъ чужой доброты и пожить въ немъ, и надо почувствовать, какъ лучъ моей доброты овладѣваетъ сердцемъ, словомъ, и дѣлами моей жизни и обновляетъ ее. Но можетъ быть еще поучительнѣе испытать чужую недоброту въ ея предѣльномъ выраженіи — вражды, злобы, ненависти и презрѣнія, испытать ее длительно, всесторонне, какъ систему жизни, какъ безнадѣжную, пожизненную атмосферу бытія. Это то повидимому и дано человѣчеству двадцатаго вѣка въ отрешеніе, умудреніе и обновленіе... Великое счастье — испытать чужую подлинную доброту, повѣрить ей, довѣриться ей и не обмануться... Она всегда приходитъ «незаслуженно», «сверхсмысленно»; иногда на зовъ, иногда безъ зова; не по обязанности, не въ силу долга, но какъ даръ, дающійся по собственному почину, безъ возврата, безъ отвѣтнаго дара и возмѣщенія: «ни за что, ни про что»... И тогда она невольно вызываетъ въ душѣ вопросъ: «неужели вправду? неужели это возможно? неужели есть въ мірѣ и такая стихія? и если есть, то почему же мы всѣ не участвуемъ въ ней и не наслаждаемся ею? Вѣдь это — совсѣмъ иная, совсѣмъ новая жизнь, настоящая, радостная, свѣтлая; и послѣ нея, безъ нея — все кажется сумеречнымъ, печальнымъ, ошибочнымъ, жесткимъ и едва выносимымъ... Чужая доброта — это сразу зовъ, и обѣщаніе, и исполненіе обѣщаннаго; предчувствіе чего то большаго, чему даже не сразу вѣрится; теплота, отъ которой сердце согрѣвается и приходитъ въ отвѣтное движеніе: ибо въ немъ сразу просыпаются — смущеніе и благодарность, и любовь, и новая очевидность, удостоверяющая насъ въ міро-объемлющей стихіи Евангельскаго обѣтованія...

Человѣкъ, разъ испытывавшій это, не можетъ не отвѣтить (рано или поздно, увѣренно или неуверенно) своею доброю, своимъ лучомъ, какъ бы «посылаемымъ» въ міръ, «участвующимъ» и «связующимъ». И отвѣтъ этотъ изойдетъ изъ него тѣмъ раньше, тѣмъ увѣреннѣе и тѣмъ плодотворнѣе, чѣмъ меньше онъ будетъ въ плѣну у каменющаго ожесточенія и у ложнаго стыда.

Это есть великое счастье — почувствовать въ своемъ сердцѣ огонь доброты и дать ему волю въ жизни. Въ этотъ мигъ, въ эти часы человѣкъ находитъ въ себѣ свое «лучшее», плѣніе своего сердца, преображеніе своего инстинкта; раскрывается его послѣд-

няя глубина, преодолевается его одиночество, расширяется объем его самочувствия до предельно живущаго и страдающаго міра. Забывается «я» и «свое»; исчезает «чужое», ибо оно становится «моимъ» и «мною». И для вражды и ненависти не остается мѣста въ душѣ.

Жизнь человѣчества, утратившаго доброту, была бы подобна страшному, нескончаемому сновидѣнію. Вотъ какъ эта жизнь предносилась великому греческому мыслителю Анаксимандру.

Въ неизмѣримомъ міровомъ пространствѣ идетъ жестокая борьба; и конца ей не видно. Изъ «Безпредѣльнаго», — предвѣчнаго и таинственнаго лона всѣхъ вещей непрестанно выдѣляются все новыя единичныя существа; и каждое изъ нихъ желаетъ себѣ всего, стремится ко всему и добывается единой и исключительной властью. Ранѣе, когда каждое изъ этихъ существъ «почивало», растворенное въ Безпредѣльномъ, когда ни одного изъ нихъ «о себѣ» не было, они всѣ пребывали въ единствѣ, и, не выдѣленные изъ Единаго-Безпредѣльнаго, были «всѣмъ и во всемъ». Но потомъ каждое изъ нихъ, просыпаясь къ самостоятельной жизни, (вступая въ «процессъ индивидуаціи»), выдѣлялось и становилось отдѣльнымъ существомъ «о себѣ», единичнымъ и ограниченнымъ, а первоначальное блаженное состояніе въ Безпредѣльномъ утрачивалось. Но возможно ли забыть разъ испытанное блаженство? Возможно ли не желать его возвращенія и восстановленія?... И вотъ, каждое изъ нихъ желаетъ этого утраченнаго блаженства, добивается его — само по себѣ и для себя, не понимая, что оно доступно только Богу и достижимо только въ Богѣ... Отсюда — эта всеобщая, безнадежная борьба.

Каждое изъ этихъ существъ утверждаетъ себя въ своей единичности и ограниченности, и въ то же время посягаетъ на «все» и требуетъ себѣ «всего». И всѣ мѣшаютъ всѣмъ. И каждый видитъ вокругъ себя однихъ враговъ. И потому всѣ предаются соперничеству и зависти; всѣ претендуютъ, нападаютъ, суетятся и кипятъ во враждѣ; всѣ куда то стремятся, раздраженные, озлобленные, ненавидятъ другъ друга и радуются чужой неудачѣ. Никто не хочетъ воздержаться и уступить; каждый желаетъ завладѣть всѣмъ и «поглотить» все; и ни одинъ не понимаетъ, что именно его притязаніе на все — исключаетъ другихъ, отвергаетъ ихъ и дѣлаетъ его собственную цѣль неосуществимою. Борьба ожесточается потому, что всѣ борются за невозможное; и чѣмъ упорнѣе борьба, тѣмъ невозможнѣе достиженіе. И каждый буйствуетъ до тѣхъ поръ, пока не истощатся его силы, пока онъ не погибнетъ, такъ и не понявъ своей трагической ошибки. Погибая же, онъ теряетъ свое индивидуальное обличіе, перестаетъ быть единичнымъ и ограниченнымъ, и растворяется въ Лонѣ Безпредѣльнаго. Только послѣ этого всѣ они могутъ обрѣсти въ Богѣ полноту бытія и утраченное блаженство... А въ это время изъ общаго Лона

всѣхъ вещей выдѣляются все новыя и новыя существа и начинаютъ ту же отчаянную и безысходную борьбу...

Въ исторіи человѣчества бываютъ такіе періоды, когда это мрачное видѣніе кажется вѣрнымъ отображеніемъ дѣйствительнаго міра и человѣческой судьбы: эта безнадежная борьба частей ради завладѣнія цѣлымъ, это неутолимое посягательство, эта жажда власти и объема, эта упорная всеобщая вражда, эта обреченность слѣпоты... И тогда мы начинаемъ искать исхода и спасенія. И вѣрное рѣшеніе проблемы не въ «роковомъ возмездіи», провозглашенномъ у Анаксимандра, и не въ «добровольномъ самоугашеніи», проповѣданномъ Буддою, но въ любовной добротѣ, завѣщенной намъ Христомъ Сыномъ Божиимъ.

Индивидуальное обличіе дается намъ не слѣпымъ рокомъ и возникаетъ не по нашему произволу; а возмездіе за творимую неправду, сколь бы ни казалось оно «справедливымъ» — не осмысливаетъ трагедію и не даетъ ей творческаго разрѣшенія. Что же касается добровольнаго ухода въ Нирвану, въ ея безгрѣшное и чистое блаженство, предносившееся Буддѣ, то этотъ уходъ явился бы отказомъ отъ возложеннаго на насъ жизненнаго бремени, отъ борьбы за миръ и отъ живой любви. Даруемое намъ индивидуальное обличіе есть духовная миссія, а не «недоразумѣніе», которое мы имѣемъ право погасить; оно таитъ въ себѣ нѣкій высшій смыслъ и творческое задание, и мы не въ правѣ уклониться отъ него и искать спасенія въ бѣгствѣ...

Напротивъ, это бремя надо принять и понести. Человѣкъ долженъ изжить свое индивидуальное обличіе въ достойномъ и прекрасномъ осуществленіи. А это дается только любовью.

Человѣкъ христіанской доброты не можетъ и не хочетъ участвовать въ этой посягающей борьбѣ всѣхъ противъ всѣхъ. Все это завистливое состязаніе, вся эта ненавистная суетня, вся эта жадность и злоба — невыносимы для него: онъ не «требуется всего», онъ не видитъ въ людяхъ враговъ и соперниковъ, у него нѣтъ для этого ни алчности, ни самомнѣнія, и онъ отходитъ отъ этого хаоса съ огорченіемъ и болью, можетъ быть даже съ отвращеніемъ... У него нѣтъ ни способности, ни потребности жить вѣчнымъ отрицаніемъ, угрожать во всѣхъ направленіяхъ, нападать на другихъ, лишать ихъ всего и толкать ихъ въ погибель; или, по слову Леонардо да Винчи, «жить на счетъ гибели другихъ». Ненависть угасаетъ отъ живой доброты; зависть совѣмъ и не зарождается; жажда мести не возникаетъ. Любовь не способна наслаждаться ни коварствомъ, ни интригою, ни насиліемъ; она не произволяетъ, не посягаетъ и не сутяжничаетъ. Доброта ищетъ мира и добивается его искреннимъ «благоволеніемъ»; а при видѣ всеобщей міровой вражды и свары, она испытываетъ только горе.

Не зная, какъ помочь этому бѣдствію, этой слѣпотѣ и жадности, доброта отвертывается отъ нихъ и прислушивается къ новому порядку вещей. Она помѣ

нить утраченное блаженное единство въ Богѣ и мечтаетъ о немъ, какъ о Царствѣ Божіемъ на землѣ. Оно предносится ей, — то въ видѣ незримой духовной ткани, сокровенно объединяющей вселенную; то въ видѣ осуществленнаго на землѣ «вѣчнаго мира»; то въ видѣ міровой «симфоніи», поющей осанну вмѣстѣ съ Шиллеромъ и Бетховеномъ; то въ образѣ звѣзднаго неба, блюдущаго въ тишинѣ свое дивное равновѣсіе. Благостное сердце живетъ предчувствіемъ, подобнымъ воспоминанію, или воспоминаніемъ, подобнымъ пророческому обѣтованію: предвѣчное блаженство не утрачено на вѣкъ, оно живетъ въ насъ въ видѣ прозрачающей надежды, ибо великое всеединство міра и людей угодно Господу, оно задано намъ всѣмъ къ осуществленію и мы призваны помышлять о немъ и трудиться надъ нимъ — всю жизнь, вопреки всѣмъ трудностямъ и видимостямъ.

Изъ этого завѣта и предчувствія исходитъ христіанская доброта. Она видитъ и множество, и смятеніе, и непримиримость, и раны, и разрывы, и пропасти — и ищетъ для нихъ цѣленія. А черствость и злоба, напротивъ, живутъ этими разрывами, бередятъ эти раны и предаются этой непримиримости. Злые люди пребываютъ въ ожесточеніи и слѣпотѣ, и ничего не знаютъ о препорученной человѣку сокровенной ткани Царства Божія . . .

Когда мы смотримъ въ глаза истинно доброму человѣку, мы видимъ струящійся изъ нихъ благостный свѣтъ, пріемлющій, сочувствующій и согрѣвающий. Въ нихъ нѣтъ подозрительности и суда, нѣтъ жесткости и отталкиванія. Въ нихъ участливый вопросъ о нашемъ жизненномъ бремені и страданіи. Мы видимъ не острый, пронзительный лучъ допрашивающей и требовательной души, но ласковое сіяніе какъ бы изъ окна родного дома. Это трогаетъ и утѣшаетъ, примиряетъ, успокаиваетъ и облегчаетъ. И мы съ изумленіемъ спрашиваемъ себя, какъ это возможно, что далекое сразу кажется близкимъ, а чужое — роднымъ? Какъ возможна любовь къ незнакомому человѣку? Какъ можетъ столь необычайное и маловѣроятное осуществиться во очію?

Сердце, живущее добротою, излучаетъ въ міръ черезъ свой ласковый взоръ творческое и неисчерпаемое «да». Ибо доброта есть какъ бы открытая дверь, вѣчное гостепріимство, братскій пріемъ. Чувствовалище доброй души открыто міру; оно готово какъ бы выйти изъ себя и уйти въ другого. Добрый человѣкъ — братъ всей твари. Онъ какъ бы помнитъ первоначальное всеобщее единство, совмѣстное происхожденіе изъ единого всеблагаго источника, отъ всеблагаго и всемогущаго Господа; онъ какъ бы чувствуетъ въ себѣ жизнь и обращеніе всеединой крови міра, вопреки тому, что «естество человѣческое», по слову Василия Великаго, является «расторгнутымъ и на тысячи частей разсѣченнымъ» . . . Дверь, ведущая въ домъ его души, открыта: она ведетъ въ тотъ великій Отчій Домъ, гдѣ «много обитателей» (Іоаннъ 14, 2); повидимому мы всѣ пребывали въ этомъ Лонѣ до со-

вершенія временъ ; и это Лоно общаетъ намъ, по совершеніи временъ, — избавленіе, пріютъ и покой. И вотъ, живая доброта излучаетъ свѣтъ этого всеединого Лона, свѣтъ любви, пріятія, благожелательства и духовнаго родства. Она уже осуществляетъ всеобщее воссоединеніе. А мы, озаренные и согрѣтые этимъ свѣтомъ, изумляемся, за что намъ дается это утѣшеніе? Ибо мы смутно чувствуемъ, что мы ничѣмъ не могли «заслужить» эту доброту и эту любовь. . .

Такая сердечная доброта человѣка есть излучающаяся благодать Самого Создателя, вѣрно воспринятая и передаваемая въ міръ. А Божія Благодать не ищетъ заслугъ, но изливаетъ себя «на праведныхъ и неправедныхъ» (Мтѣ. 5, 45). И когда Божія Благодать льется черезъ человѣческое сердце, свѣтитъ и согрѣваетъ, тогда невыносимый раздоръ въ человѣчествѣ начинаетъ стихать, и ненависть опоминается, и зависть стыдится, и посяганіе приходитъ въ смущеніе. Ибо доброта несетъ людямъ благу вѣсть о воссоединеніи. Она есть дыханіе утраченного блаженства. Ей дано, какъ солнцу, растапливать льды, и, какъ огню, плавить камни. . .

Все это означаетъ, что истинно-доброе сердце живетъ въ ткани Божіей и чувствуетъ свою сокровенную связь съ остальнымъ человѣчествомъ. Оно не отъединяется отъ этой ткани, не посягаетъ и не враждуетъ. Оно вчувствуется въ жизнь другого, въ жизнь каждаго, отзывается и готово помогать. Такой человѣкъ смотритъ въ міръ доброжелательно, ласково, сострадательно. И самый взоръ его есть уже благодѣяніе для ожесточенныхъ ; и слова его звучатъ, какъ призывъ вернуться на родину. И каждое существо, вступающее въ поле его зрѣнія, вызываетъ въ немъ лучъ благоволенія, зажигаетъ въ немъ огонь Божіей доброты и даритъ ему радость. Вотъ почему преподобный Серафимъ Саровскій говорилъ каждому человѣку: «радость моя!» . . . И эти простыя, но таинственные слова изъ райскихъ селеній были сразу изліяніемъ личнаго сердца и евангельскимъ зовомъ въ Лоно Отца. Ибо человѣкъ человѣку во Христѣ — не волкъ, и не врагъ, а свѣтъ и радость. . .

Доброта есть цѣлебный бальзамъ на раны міра, болеутоляющее лѣкарство для душевныхъ разрывовъ и духовныхъ ранъ. Она живетъ мечтою и созерцаніемъ въ блаженномъ первобытіи, въ предвѣчномъ лонѣ всѣхъ вещей ; она какъ бы пророчествуетъ о грядущемъ воссоединеніи въ Богѣ ; и бережетъ въ земной жизни священную ткань благоволенія, мира и всеединства. . .

Какая же культура возможна безъ доброты? Культура есть единый духъ у многихъ душъ ; единая общая ткань у отдельныхъ, разъединенныхъ людей ; и возникаетъ она въ творческомъ общеніи одинокихъ созерцателей. Какъ же можно создать ее безъ доброты? . . .

17. О смирѣніи.

Иногда у насъ возникаетъ сомнѣніе, можно ли въ самомъ дѣлѣ требовать смиренія отъ всѣхъ людей? Гдѣ взять его повседневному человѣку, съ головой ушедшему въ борьбу за существованіе, съ ея заботами, страхами и интригами? Развѣ смиреніе не есть добродѣтель избранныхъ, прошедшихъ путь религіознаго очищенія? Можетъ быть... Но именно поэтому мы радуемся, когда замѣчаемъ въ комъ-нибудь искру неподдѣльнаго смиренія; и у насъ тотчасъ же слагается увѣренность, что судьба послала намъ жизненную встрѣчу съ превосходнымъ человѣкомъ.

У смиренія есть особое свойство — повышать духовную цѣнность человѣка.

Если мы видимъ передъ собою какого-нибудь прославленнаго дѣятеля (въ наукѣ, въ искусствѣ или политикѣ), и замѣчаемъ въ его манерѣ держаться — самомнѣніе, тщеславіе или гордость, — то мы начинаемъ охладѣвать къ нему, наша симпатія гаснетъ и цѣнность его умалется въ нашихъ глазахъ. Это происходитъ не только потому, что его самопревознесеніе какъ бы принижаетъ насъ самихъ, и что мы чувствуемъ себя явно пренебреженными или даже сопричисленными къ «ничтожествамъ». Это было бы понятно: ибо это означало бы, что у насъ самихъ не хватаетъ смиренія и что поэтому его апломбъ кажется намъ «невыносимымъ». Но гораздо важнѣе то обстоятельство, что его заносчивость умалываетъ его духъ и снижаетъ его цѣнность.

Это такъ и есть на самомъ дѣлѣ.

Истинному величію причитается простота, доброта, легкость и скромность. И чѣмъ болѣе у даровитаго человѣка этихъ прекрасныхъ и чарующихъ свойствъ, тѣмъ искреннѣе обращаются къ нему сердца. Это естественно: въ глубинѣ души у всѣхъ насъ живетъ убѣжденіе, что «побѣдитель» жизненныхъ трудностей и предметовъ — долженъ былъ прежде всего побѣдить самого себя... А скромность и выражаетъ эту побѣду.

Зато тотъ, кто считаетъ себя «перломъ созданія», кто воображаетъ, что осуществилъ «высшее» и что его творчество «совершенно», тотъ обнаруживаетъ свою близорукость и ограниченность. И чѣмъ горделивѣе онъ держится, чѣмъ больше его притязаніе и чѣмъ навязчивѣе онъ его предъявляетъ, чѣмъ болѣе онъ доволенъ собою и чѣмъ менѣе онъ смотритъ вверху и впередъ, тѣмъ сильнѣе наше разочарованіе: мы теряемъ уваженіе къ нему, онъ уже не импонируетъ намъ, и у насъ дѣлается такое чувство, какъ если бы мы натолкнулись въ немъ на ма-

ленького и глупого человѣка, который заслонилъ намъ въ немъ самое умнаго, большого и значительнаго... Какое огорченіе!

Напротивъ: отъ истинной скромности идетъ нѣкое духовное благоуханіе; въ ней есть что-то трогательное и плѣнительное. Можетъ быть, скромный человѣкъ не достигнетъ такъ скоро «признанія» и «славы», какъ самоувѣренный человѣкъ, выступающій съ апломбомъ, или какъ назойливый хвастунъ, надъ которымъ люди посмѣиваются, и все же поддаются его саморекламѣ: смотрятъ на его «фейерверкъ», знаютъ, какая ему цѣна и все-таки незамѣтно начинаютъ считать его «выдающимся» человѣкомъ. Однако, фейерверкъ скоро сгораетъ и послѣ него остаются только обугленные деревяшки, сажа и зола, и тутъ-то лучи скромнаго человѣка, съ ихъ тихимъ, но подлиннымъ свѣтомъ, начинаютъ обращать на себя общее вниманіе.

Можно было бы сказать: выдающійся, но заносчивый человѣкъ — обнаруживаетъ свои предѣлы и снижаетъ свой ростъ; небольшой человѣкъ съ истиннымъ смиреніемъ — причастенъ духовному величію. Гордость разочаровываетъ и обезцѣниваетъ. Смиреніе пробуждаетъ любовь, увеличиваетъ цѣнность человѣка и возносить его духовно. Будь непритязателенъ и терпѣливъ; примиришь съ тѣмъ, что ты пройдешь въ жизни незамѣченнымъ; предоставь другимъ блескѣть и красоваться. Твое время придетъ тогда, когда начнется н а с т о я щ е е, не личное, а п р е д м е т н о е. Можетъ быть, это будетъ послѣ твоей земной смерти, когда наступитъ время «жатвы» и когда каждое зернышко будетъ бережно собрано, и твое зерно будетъ съ любовью принято. Можетъ быть... И вотъ, съ этимъ надо примириться. Надо выносить въ себѣ потребность и волю — б ы т ь, а н е к а з а т ь с я; — и увѣренность, что «зерно бытія» больше, чѣмъ призрачное величіе; — и еще крѣпкую заботу о томъ, чтобы дѣйствительно вступить въ сферу п о д л и н н а г о б ы т і я, с у щ а г о п е р е д ь л и ц о м ь Б о ж і и м ь. А остальное не существенно...

Тщеславіе всегда злоупотребляетъ пространствомъ человѣческаго общенія для того, чтобы добиться въ немъ «успѣха», «вліянія» и «славы», всей этой лестной видимости, — и не думаетъ о томъ, что «успѣхъ» есть почти всегда успѣхъ у т о л п ы, а у толпы мало духа, и еще меньше вкуса. А «вліяніе»... Какъ часто оно состоитъ въ томъ, что «вліяющій» прислуживается къ людямъ, гнется во всѣ стороны, чтобы угодить своимъ вліяемымъ, и кончаетъ тѣмъ, что самъ оказывается безличнымъ орудіемъ чужихъ интересовъ. А «слава» прельщаетъ только тѣхъ, кто никогда не заглядывалъ за ея кулисы и не догадался еще, что она составляетъ нерѣдко монополію профессиональных «сладководѣлателей». Вотъ почему человѣкъ, приобщившійся истинному смиренію, встрѣчаетъ каждый свой успѣхъ желаніемъ провѣрить — не покривилъ ли онъ въ чемъ-нибудь душою для угожденія толпѣ; и на всякое свое «вліяніе», какъ только оно обнаруживается, — онъ отвѣчаетъ повышеніемъ чувства отвѣтственности и юморомъ: юморомъ, — чтобы не впасть въ тщеславіе и не по-вѣрить лести; чувствомъ отвѣтственности — ибо ему необходима

увѣренность, что онъ вложилъ въ свои дѣла свое лучшее. А «славу» свою онъ встрѣчаетъ съ тревогою, — ибо незаслуженная слава есть ложь, а заслуженная слава должна быть еще провѣрена смертью прославившагося... Ибо человѣческій приговоръ — суемень; а Божій приговоръ произносится лишь по смерти.

Итакъ, тщеславіе борется за призрачное, а смиреніе вводитъ въ царство реальности.

Тщеславный человѣкъ совершаетъ три ошибки: во-первыхъ, онъ принимаетъ самого себя за нѣчто очень «важное» въ жизни; во-вторыхъ, ему кажется, что онъ чрезвычайно «многого» достигъ и очень многое совершилъ; и въ-третьихъ, ему хочется, чтобы эти великія «достиженія» и «совершенія» были повсемѣстно признаны и превознесены.

Преодоленіе тщеславія должно начаться съ постиженія третьей ошибки.

Надо принять во вниманіе, что сила сужденія и компетентность, необходимыя для истиннаго «признанія», присущи лишь очень немногимъ людямъ; что на свѣтѣ есть слѣпое и безтолковое признаніе, легкомысленное и безотвѣтственное восхваленіе, поддѣльный и своекорыстный восторгъ, продажная критика и оплаченный успѣхъ. Надо понять, что въ современном обществѣ есть множество тайныхъ союзовъ, — религіозныхъ и національных, политическихъ партій, полуполитическихъ клубовъ, и даже эротическихъ союзовъ, — члены которыхъ при всякихъ обстоятельствахъ поддерживаютъ другъ друга, восхваляютъ и выдвигаютъ «своихъ» и замалчиваютъ или поносятъ «чужихъ». Надо отдать себѣ отчетъ въ томъ, что масса слѣдуетъ модѣ и рекламѣ, партійнымъ внушеніямъ, закулиснымъ нашептамъ и очень часто вѣрить наемной «клакѣ», которую въ Италіи называютъ «негодьями въ желтыхъ перчаткахъ» (*cladri in guanti gialli*). Какъ много людей, восхваляющихъ модное — по разсчету, изъ страха передъ общественнымъ мнѣніемъ или по тщеславію и снобизму!.. И какъ смутно дѣлается на душѣ, когда слышишь похвалу изъ устъ безвкуснаго пошляка, или нигилиста, или завѣдомаго лжеца и злодѣя: и стыдно, и тревожно, и грустно! Сознаніе, что мой трудъ одобренъ нечестивцемъ, что я угодилъ духовному слѣпцу или глупцу, что извѣстные плуты восхищаются моимъ созданіемъ на всѣхъ перекресткахъ, можетъ вызвать въ душѣ настоящее удрученіе... И тотъ, кто сообразить и продумаетъ все это, — скоро пойметъ, что только признаніе зрѣлаго судіи, мудраго созерцателя и чистосердечнаго критика можетъ быть желаннымъ и радостнымъ. А такие люди будутъ хвалить меня только тогда, когда я самъ буду чувствовать, что меня оправдываетъ моя собственная совѣсть и что меня укрѣпляетъ Божій лучъ. Вотъ почему Пушкинъ былъ правъ, когда совѣтовалъ поэту не дорожить успѣхомъ у толпы и судить себя самого высшимъ и строгимъ судомъ...

Надо рассмотреть «людскую славу», понять ея шаткое и фальшивое естество — и разлюбить ее. Это значитъ побѣдить тщеславіе внѣшней «популярности». А для этого надо утвердить въ самомъ себѣ высокій и строгій критерій совѣсти и рели-

гіозное чувство отвѣтственности, чтобы затѣмъ сказать самому себѣ: «что мнѣ людская хвала и людское поношеніе, когда мнѣ свѣтитъ лучъ Божій?»

Тогда можно приступить къ преодолѣнію второй ошибки тщеславія. А именно, человѣкъ долженъ приучиться къ невысокой оцѣнкѣ того, чего онъ достигъ и что онъ совершилъ. Если онъ силенъ, то пусть не считаетъ себя сильнымъ; если онъ уменъ, то онъ не долженъ причислять себя къ «самоумнѣйшимъ» людямъ; если онъ порядочный человѣкъ, то пусть онъ не переоцѣниваетъ свою добродѣтель; если онъ даровитъ, то пусть познаетъ мѣру своего таланта и не воображаетъ, будто онъ «великъ» и «геніаленъ». Почему? И зачѣмъ это нужно?

Тотъ, кто «достигъ» и «совершилъ», тотъ «успокаивается», погружается въ самодовольство и прекращаетъ поиски и борьбу. Кто знаетъ «достаточно», тотъ прекращаетъ изученіе и изслѣдованіе, не углубляетъ свой духъ, останавливается въ своемъ развитіи, начинаетъ повторяться и теряетъ свои богатства. Всевѣдущій «знатокъ» — дошелъ до своего предѣла и начинаетъ отставать. Онъ забылъ главное, именно, что Божій Предметъ — безпредѣленъ во всѣхъ отношеніяхъ и смыслахъ, и что человѣкъ есть лишь скромный ученикъ этого Предмета. Кто достигъ «совершенства», для того уже не можетъ быть правилъ и запретовъ, и завтра — онъ разрѣшитъ себѣ все. «Безошибочный» не увидитъ ни своихъ слабостей, ни своихъ ошибокъ. Высокоумный человѣкъ и не подозреваетъ того, что завтра появится сверхумный, который поставитъ его въ положеніе глупца и повергнетъ его въ смущеніе и растерянность. А талантливый художникъ, который вообразитъ себя геніальнымъ мастеромъ, — быстро прекратитъ свою внутреннюю работу, снизитъ свою требовательность, утратитъ драгоцѣнное и воспитывающее недовольство собою и самъ не замѣтитъ, какъ создастъ завтра ничтожное твореніе, надъ которымъ всѣ будутъ подсмѣиваться исподтишка.

Вотъ почему каждый, кто создастъ что-нибудь, не долженъ подолгу предаваться радостямъ достиженія, но скорѣе сосредоточиться на недостаткахъ своего созданія: онъ долженъ повышать свои требованія, отыскивать свои промахи, неумѣнія и не совершенства, судить свое твореніе мѣрою полною и великою, и замышлять лучшее. Надо всегда смотрѣть вдаль, — подобно человеку на башнѣ; надо всегда думать о томъ, чего мнѣ еще духовно не хватаетъ, — подобно скупцу, собирающему богатство; надо постоянно чинить и крѣпить свои стѣны, — подобно осажденному полководцу. Надо жить не гордостью отъ совершеннаго и достигнутаго, но смиреніемъ при мысли о неудавшемся и еще предстоящемъ въ будущемъ.

Кто знаетъ предѣлы своего знанія и своихъ знающихъ силъ, тотъ останется вѣчнымъ студентомъ и станетъ истиннымъ изслѣдователемъ. Кто научится видѣть свои духовные предѣлы и болѣть о нихъ, тотъ будетъ всю жизнь расти. Кто сознаетъ свои слабости и недостатки, тотъ будетъ бороться съ ними, побѣждать ихъ и совершенствоваться. Для лѣченія необходимъ вѣрный діагнозъ, тогда какъ

незамѣченные болѣзни запускаются и становятся хроническими. Словомъ, настоящий человѣкъ вырабатываетъ особую культуру своихъ несовершенствъ, стараясь не преуменьшать ихъ и не преувеличивать. Это и есть источникъ истинной скромности, начало самосовершенствованія, секретъ духовнаго роста и развитія. Тотъ, кто смотритъ вдаль и ввысь, тотъ увидитъ Божественное, котораго онъ лишенъ и о которомъ онъ вздыхаетъ; и когда онъ затѣмъ обращается къ совершенному и достигнутому, — онъ стойтъ смущенный и пристыженный: «Господи, сколь я безсиленъ и немощенъ!». . . Онъ всегда чувствуетъ, что ему не хватаетъ Главнаго; что до истинной высоты — ему далеко, какъ до звѣзды небесной; что все его наличное достояніе — есть только начало, только зовъ и обѣтованіе; что гордиться ему нечѣмъ, — и что все у него еще впереди. Надо приучить себя къ той «нищетѣ духомъ», о которой сказано въ Евангеліи; — и найти въ себѣ мужество бѣдняка, скромность вопрошающаго и бодрость ученика.

Тогда остается еще третій шагъ: надо переложить центр тяжести въ своей жизни и борьбѣ съ собой самого, со своей особы — на предметную стихію бытія, на то, что можно было бы обозначить словами «ткань Божія въ мірѣ». Пока человѣкъ не имѣетъ жизненной цѣли и пока онъ служитъ только себѣ самому и своему жизненному «усиѣху», до тѣхъ поръ скромность будетъ казаться ему чѣмъ-то страннымъ и ненужнымъ, можетъ быть даже — вреднымъ, а до смиренія онъ не дойдетъ никогда: желая выдвинуться, онъ будетъ предаваться хвастливости, заносчивости и тщеславію, и будетъ думать про себя, что скромность подобаешь нищимъ, а смиреніе — лицемѣрамъ. А между тѣмъ, скромность начинается тамъ, гдѣ человѣкъ чуетъ надъ собою нѣчто Высшее, а смиреніе возникаетъ въ тотъ мигъ, когда человѣкъ преклоняется передъ этимъ Высшимъ. Человѣку необходимо имѣть въ жизни нѣчто такое, что онъ цѣнитъ и любитъ, чему онъ служитъ, какъ своей главной цѣли: ей долженъ быть посвященъ его трудъ, ради нея онъ сосредоточиваетъ свои силы, за нее онъ борется, ей онъ жертвуетъ собою и всѣмъ остальнымъ. И тотъ, кому дано это счастье служенія и горѣнія, — скоро начинаетъ замѣчать, что ему все удастся тѣмъ легче и тѣмъ лучше, чѣмъ меньше онъ думаетъ о себѣ и чѣмъ цѣльнѣе онъ отдается предметной стихіи своего служенія. Нельзя считать себя и свой личный успѣхъ важнѣйшимъ дѣломъ жизни. Надо научиться выходить на Божій просторъ изъ жесткой скорлупы своего себялюбія; надо сердцемъ и волею преодолѣть свое одиночество, свой наивный эгоцентризмъ. Скудна и душна жизнь человѣка, не знающаго ничего о сверхъличныхъ богатствахъ богозданнаго міра. И только тотъ, кто узнаетъ счастье предметной жизни и вложится въ Божию ткань міра, только тотъ почуветъ въ себѣ силы Ильи Муромца, дарованныя ему его высокими пришельцами: Божіе дѣло — станетъ его личнымъ дѣломъ, невозможное сдѣлается для него возможнымъ, а за плечами у него вырастутъ крылья настоящаго вдохновенія.

Божіе дѣло требуетъ отъ насъ цѣльнаго и безавѣтнаго слу-

женія; а мы пребываемъ въ тщетѣ личныхъ дѣлъ и растрачиваемъ на нихъ любовь, силы и время, и всю жизнь; подобно чеховскому торговцу, подсчитываемъ наши воображаемые «убытки» и мнимыя неудачи... Намъ все кажется, что жизнь обдѣлила насъ, что намъ еще что-то «причитается», что наши «справедливыя притязанія» неудовлетворены и что всѣ у насъ въ долгу. Человѣкъ, предающійся такимъ настроеніямъ, всю жизнь, подобно раненому животному, заливаетъ свою незаживающую рану; но въ дѣйствительности — рана эта мнимая и стоить только не думать о ней, чтобы она начала заживать. Такія душевныя раны исцѣляются только забвеніемъ, живой любовью къ людямъ и служеніемъ Богу. Человѣкъ, неспособный обновить направленіе и центръ своей жизни, остается въ плѣну собственной пошлости, обливая слезами свое непоправимое прошлое и свое горькое настоящее.

Служеніе Божьему Дѣлу требуетъ отъ насъ преданности и стойкости; и надо предаться ему. Надо отождествить свой личный успѣхъ — съ его успѣхомъ и подчинить свою судьбу — его развитію и росту. Любовь и воля человѣка должны получить свое содержаніе и свою цѣль отъ этого великаго «горнаго хребта» человѣческой исторіи, и такимъ образомъ — предметно обновиться. Можетъ показаться, что въ этомъ самоотверженномъ служеніи человѣкъ дѣйствительно отказывается отъ себя и теряетъ себя; однако на самомъ дѣлѣ онъ впервые обрѣтаетъ самого себя въ великой и священной ткани Божіей. Онъ теряетъ свое человѣческое, «слишкомъ человѣческое», грѣшно-страстное естество; но зато находитъ себя — духовно-подлиннаго, «предметно наполненнаго», смиреннаго и достойнаго слугу Божьяго Дѣла на землѣ.

Именно въ этомъ смиреніи онъ впервые находитъ и утверждаетъ свое истинное духовное достоинство; — не уваженіе другихъ людей, не «почести» и не «славу», не довольство собою, но главное и основное, человѣчески-духовное достоинство, дающееся тому, кто утвердится и укоренится въ Божественномъ. Тамъ, гдѣ водворяется это достоинство, тамъ не бываетъ гордости. Ибо гордость не отъ Бога; а достоинство отъ Бога и ведетъ къ Богу. Гордость не знаетъ о смиреніи; именно поэтому ей предстоятъ многія и жестокія униженія... А настоящее достоинство рождается изъ смиренія и не можетъ быть унижено; и если кто-нибудь пытается унижить его, то онъ только возвеличиваетъ его и поднимаетъ его на высоту. Смиреніе ведетъ къ Богу. Достоинство пребываетъ въ Богѣ. Поэтому Маркъ Отшельникъ былъ правъ, совѣтуя «не почитать себя за нѣчто великое», но беречь свою «нищету духа»^{*)}; и Ефремъ Сиринъ былъ мудръ, говоря: «превозношеніе ослѣпляетъ умныя очи, а смиреніе просвѣщаетъ ихъ любовью...»^{**)}.

И вотъ, оказывается, что смиреніе все-таки подобаетъ каждому изъ насъ: и гражданину, и ученому, и художнику, и воину,

^{*)} Добротолюбіе, I, 516.

^{**)} Добротолюбіе, II, 424.

и пастырю. Каждый может и долженъ приобщиться ему: найти свое духовное достоинство, вложиться въ служеніе Божьему Дѣлу, полюбить великое и возжелать непреходящаго. И если бы кто-нибудь спросилъ, какъ легче всего и скорѣе всего возжечь въ себѣ чувство смиренія, то отвѣтъ былъ бы таковъ : не сравнивать свое «превосходство» съ «ничтожествомъ» другихъ людей, но чаще, какъ можно чаще, приводить свою «малость» предъ лицо Божьяго величія, какъ бы «вычитая» себя изъ Его совершенства и созерцая обнаруживающуюся «разность»...

Отъ этого въ сердце вселяется, какъ бы само собою, сущее смиреніе : и оказывается, что мои «долги» такъ велики, что я не успѣваю и добраться до чужихъ «долговъ» : начинается щедрое «прощеніе» другимъ и строгое взысканіе съ себя самого. Тогда честолюбіе смутится и смолкнетъ, и человѣкъ пойметъ, что важно не то, какой «постъ» онъ занимаетъ въ жизни, но то, что онъ творить на этомъ «посту». Ибо въ жизни и въ мірѣ надо не фигурировать и не величаться, а трудиться надъ все-единою и вѣчною «тканью» Царствія Божія, а въ этомъ служеніи бываютъ тихія и незамѣтныя свершенія, но не бываетъ «ничтожныхъ» дѣлъ и «унизительныхъ» заданій...

Если бы только люди поняли это и захотѣли вступить на этотъ путь!

Потерянная тайна.

Въ ранней юности человѣкъ есть существо вопрошающее и любопытное: ребенокъ видитъ многое, а понимаетъ мало, и все спрашиваетъ и разспрашиваетъ, и получаетъ отвѣты, которые его не удовлетворяютъ. И скоро у него возникаетъ ощущеніе, будто взрослые скрываютъ отъ него какія-то тайны, секретничаютъ, уклоняются отъ прямыхъ отвѣтовъ и не хотятъ говорить о самой сущности вещей и дѣлъ: «все не то, все не такъ, все скрываютъ». . . И вотъ ребенокъ начинаетъ чувствовать себя разочарованнымъ и даже обиженнымъ: «Что они думаютъ, я такъ глупъ, что повѣрю ихъ глупымъ отвѣтамъ? Ну, хорошо, я постараюсь дойти до всего самъ». . .

И вотъ начинается наблюденіе и подглядываніе, подслушиваніе и размышленіе, изобрѣтеніе своихъ «объясненій» и «теорій», которыя должны «разъяснить» все до конца. Ребенокъ живетъ во внутреннемъ безпокойствѣ, но прикрываетъ его дѣланымъ безразличіемъ, а за всѣмъ этимъ въ немъ скрывается жадное вниманіе, пристальная наблюдательность и безпокойный, изслѣдовательскій духъ. Нельзя примириться съ «секретами»; они должны быть разгаданы. Нельзя остановиться передъ заpretной тайной; надо ее разоблачить. Тайна это вродѣ обмана: умные дурачатъ глупыхъ; но глупые не мирятся и хотятъ стать тоже умными. Тайна означаетъ, что взрослые хотятъ держать насъ, дѣтей, въ состояніи незнанія и зависимости; и все — чтобы нами командовать. Потому что «въ дѣйствительности» все просто, легко и доступно.

Вотъ почему въ дѣтскихъ разговорахъ такъ часто слышится словечко «о-очень просто!» И произносится это словечко насмѣшливо, самоувѣренно и даже авторитетно. Поэтому и педагогическое наблюденіе оказывается вѣрнымъ: чѣмъ таинственнѣе держатся родители, чѣмъ меньше они удовлетворяютъ дѣтей въ ихъ любопытствѣ, тѣмъ больше дѣти усваиваютъ себѣ плоское мышленіе, стремящееся все разоблачить, упростить и опослить. И потому слѣдовало бы не устранять дѣтей отъ тайны, не «секретничать» и не запрещать имъ проникновеніе вглубь вещей, но постепенно, осторожно вводить ихъ въ тайну естественнаго бытія, любовно и благоговѣйно посвящая ихъ въ мудрость вселенной (конечно, не столь грубо и пошло, какъ это предлагаетъ Жанъ Жакъ Руссо !): смотри, созерцай, постигай, изумляйся и преклоняйся въ благоговѣніи. . .

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ западное чело в ѣ ч е с т в о запротестовало противъ подобнаго «униженія», заболѣло острымъ чувствомъ мнимой «обиды» и захотѣло все упростить и какъ можно проще объяснить. Эта обида и это глупое тяготѣніе передались и девятнадцатому вѣку и вдругъ вспыхнули злобой, завистью и ненавистью въ нем ы с л ы ш ы х ѣ м а с с а х ѣ д в а д ц а т а г о в ѣ к а . При этомъ понятно, что католическая церковь съ ея многовѣковыми запретами и кровавымъ терроромъ инквизиціи олицетворяла собою «родительскій обликъ», — монополизирующій власть для поддержанія «тайны» и блюдушій «тайну» ради закрѣпленія своей власти : это она не разрѣшала «дѣтямъ» свободу изслѣдованія (вспомнимъ Галилея, Ванини, давнишній споръ объ «антиподахъ» и т. д.) ; это она пыталась сберечь для «эзотерическаго вѣдѣнія» великія тайны Божія существа и Божьяго міра. И вотъ «дѣти» пережили эпоху Возрожденія и эпоху Просвѣщенія, выросли умственно и созрѣли волею и предались овладѣвшему ими «духу противорѣчія». Подавляющій церковный авторитетъ былъ отвергнутъ, и началось повсюду самостоятельное наблюденіе, любопытная погоня за явлениями и неутомимое слѣдопытство.

Эта противоположность между церковной опекой и автономнымъ мышленіемъ постепенно укрѣпилась и вызвала сначала скрытую, а потомъ и явную враждебность ; вражда не нашла себѣ ни примиренія, ни исцѣленія ; напротивъ, она даже обострилась во второй половинѣ девятнадцатаго и въ первой половинѣ двадцатаго вѣка, когда рядомъ съ трезвой и разумной наукой выступила заносчивая и скудоумная полунаука, когда темная масса вообразила себя «просвѣщенной» и въ мірѣ разлилось плоское и пошлое полуобразование.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ это теченіе сформировалось подъ вліяніемъ французскихъ энциклопедистовъ. Возникло новое умонастроеніе, которое предавалось религиозно-безпредметному скепсису, стало постепенно руководящимъ и ведущимъ, захватило и государей на тронѣ (Фридрихъ II Прусскій, Екатерина II) и побѣдоносно вступило въ девятнадцатый вѣкъ. Было высказано и «принято», что церковь строится врагами просвѣщенія и распространяетъ обскурантизмъ ; что религія, строго говоря, беспочвенна ; что всякая вѣра «напрасна» и есть «всue-вѣріе» ; что Евангеліе содержитъ лишь «миѳъ» о Христѣ ; что всякое чудо есть обманъ, подлежащій разоблаченію и обличенію ; что есть только единственный источникъ достовѣрнаго знанія, — чувственный опытъ. . . Что же касается такъ называемыхъ «тайнъ», то ихъ вообще нѣтъ, ни въ природѣ, ни въ чело в ѣ к ѣ : на самомъ дѣлѣ все просто и ясно ; стоитъ только взяться за наблюденіе и размышленіе и каждый увидитъ, что всѣ явленія возникаютъ естественно, закономерно, и что все заранѣе опредѣлено закономъ причинной необходимости. Міръ совсѣмъ не таинственъ и не глубокъ ; онъ сплошь детерминированъ, трезвъ и прозаиченъ ; для объясненія его совсѣмъ не нужна «гипотеза» Божьяго бытія. . . Механически и нисколько не духовно совершается его ходъ, ибо онъ просто катится по рельсамъ причинности. И тотъ, кто пытается усмотрѣть

рѣтъ въ немъ еще какую-то романтику, фантастику, мистику или иную беспочвенную сентиментальность, — есть мракобѣсъ, «*vir obscurus*», реакціонеръ, вредитель, а можетъ быть и сущій плутъ.

Какъ изъ этого умонастроенія, — изъ этого плоскаго сенсуализма и пошлаго матеріализма, — возникло современное воинствующее безбожіе, понятно безъ дальнѣйшихъ разъясненій: стоитъ только заострить основные тезисы этого міровоззрѣнія, выговорить ихъ съ волевымъ темпераментомъ и сдѣлать всѣ послѣдовательные, особенно практическіе выводы. . .

Надо признать, что великіе научные изслѣдователи отнюдь не впадали въ это умонастроеніе. Но поскольку они практически принимали гипотезу механическаго объясненія и примѣняли ее, они часто не замѣчали, какъ эта, въ извѣстныхъ предѣлахъ продуктивная, но достаточно плоская и отнюдь не исчерпывающая гипотеза разрасталась въ самодовлѣющее, якобы «все-объясняющее» и «единственно научное» міросозерцаніе. Отсюда возникала такъ называемая «традиція позитивизма», согласно которой настоящій и строгій изслѣдователь обязанъ устранять всякую «мистику», сводить всякое явленіе къ его простѣйшимъ элементамъ и причинамъ, не дивиться на чудеса мірозданія, разлагать все таинственное, лишать его всякаго священнаго ореола и объяснять все строгими и общими законами, разочаровывая и отрезвляя наивныхъ людей.

Это и была традиція «обиженныхъ» и «униженныхъ» умовъ, ребяческой уязвленности и дѣтской потребности представить себѣ все въ простомъ и плоскомъ видѣ. Это была традиція борьбы и вражды противъ всего, что кажется таинственнымъ: посяганіе — все «разгадать», разоблачить и свести къ разсудочнымъ схемамъ. Это давало «наслажденіе» отъ «удачнаго» всеупрошенія и всеопышенія. И въ послѣднемъ счетѣ — это было возстаніе противъ библейско-церковнаго сведенія всего къ Господу Богу, какъ «источнику всяческихъ». И болѣе того: это было прикровенное возстаніе противъ Бога; жажда низвергнуть Его съ трона и занять Его мѣсто.

Но если отвлечься отъ этой традиціи и обратиться къ великимъ и геніальнымъ изслѣдователямъ природы, то надо признать, что они умѣли созерцать тайны мірозданія и дивиться имъ искренно и глубоко. Можно было бы сказать: большой изслѣдователь приступаетъ къ своему изслѣдованію съ чувствомъ, что онъ противостоитъ нѣкой великой тайнѣ, и заканчиваетъ свой трудъ съ убѣжденіемъ, что онъ не овладѣлъ тайной міра и не исчерпалъ ея. Всякое серьезно-глубокое научное объясненіе ведетъ насъ въ глубину міра, но на одинъ шагъ; никакое объясненіе не исчерпываетъ эту глубину, ни одно изъ нихъ не «отмѣняетъ» ее. Ибо эта таинственная глубина не есть нѣчто воображенное нами, не есть выдуманное нами содержаніе сознанія, но есть предметно-сущее обстояніе.

Каждый изъ насъ долженъ однажды конкретно представить себѣ этотъ великій объективно-сущій предметъ, мірозданіе въ

его непомѣрно-тотальныхъ размѣрахъ и въ его неизмѣримой внутренно-микроскопической глубинѣ; — это мірозданіе, которое то развертываетъ передъ нами свои безконечно-великія дали и разстоянія, отнюдь не давая доступа къ нимъ, то указываетъ намъ на свои безконечно-малыя развѣтвленія, отнюдь не давая ихъ «въ руки»; — это мірозданіе, въ которомъ все, — великое и малое, недостижимо-далекое и неуловимо-глубокое, — связано другъ съ другомъ, сплетено въ сплошную ткань, и несется изъ прошлаго черезъ настоящее въ будущее въ качествѣ динамическаго и цѣлесообразнаго Единства... Каждый изъ насъ долженъ оживить и расширить свое предметное созерцаніе въ попыткѣ представить себѣ этотъ предметъ, и затѣмъ вообразить себѣ **чудо этого «самопроизвольно-активнаго» равновѣсія**, изъ котораго говоритъ нѣкая молчаливая разумность и неизъяснимая сила; чудо, передъ которымъ благоговѣйно преклонялись и Аристотель, и Коперникъ, и Лейбницъ, и Василій Великій, и Кеплеръ, и Леонардо да Винчи, и Бойль, и Ломоносовъ... И тотъ, кто хоть разъ въ жизни коснется этого своимъ духомъ, тотъ навсегда уяснитъ себѣ, что здѣсь дѣло идетъ не о какомъ-то субъективномъ секретно-сочинительствѣ и тайно-укрывательствѣ, и не о праздно-самомистификаціи, но о величественной и прекрасной **міровой тайнѣ**, которую открыто признавали и исповѣдовали всѣ отцы христіанской Церкви, начиная съ апостола Павла, и всѣ основоположники современнаго естествознанія, кончая Фехнеромъ и Дюбуа-Реймономъ.

Въ нашихъ изслѣдованіяхъ мы выдѣляемъ изъ этой сверхсложной и таинственно-связной ткани — отдѣльные «обломки», «обрывки» или нити; и поэтому мы должны помнить, что **так ихъ выдѣленныхъ и теоретически-препарированныхъ частей въ реальномъ предметѣ нѣтъ**. Это мы сами умственно «извлекаемъ» или «отвлекаемъ» эти обломки, обрывки или нити, чтобы изслѣдовать ихъ въ изолированномъ видѣ; и прибѣгая къ этому приему вслѣдствіе ограниченности нашего опыта и вслѣдствіе слабости нашей мысли, мы должны разумѣть и помнить, что имѣемъ дѣло съ нашими научными «препаратами», или умственными «построеніями», не болѣе. Практически эти человѣческіе «лабораторы» являются неизбѣжными и пригодными; и это насъ ослѣпляетъ: возвращаясь изъ нашихъ научныхъ лабораторій къ созерцанію предмета (мірозданія), мы все снова забываемъ включить необходимую «поправку» на упущенное нами, — на динамическую связанность вселенной, на таинственное единство міра, на сверхсложность и взаимное воздѣйствіе всѣхъ этихъ «обломковъ», «обрывковъ» и «нитей». Мы забываемъ, что въ дѣйствительномъ **мірѣ** — этотъ единичный «фрагментъ» стоитъ въ многообразномъ и уводящемъ вдаль взаимовліяніи съ другими «фрагментами», и что эта отдѣльная естественно-закономѣрная нить включена въ необозримую ткань другихъ, по-своему закономѣрныхъ нитей. А если намъ удастся, сверхъ того, практически использовать нѣкоторыя изъ этихъ нитей съ эффектнымъ послѣдствіями, то мы готовы принять себя за властныхъ «хозяевъ» вселенной и начи-

наемъ воображать, что мы дѣйствительно раскрыли всѣ тайны міра и овладѣли ими. А на самомъ дѣлѣ мы стоимъ передъ мірозданіемъ, какъ хвастливые нищіе, которые, держа въ рукѣ грошъ, воображаютъ себя богачами, или какъ наивныя дѣти, которыя собираются исчерпать море игрушечнымъ ведромъ...

На этомъ пути мы теряемъ доступъ къ тайнѣ мірозданія; наша наука бѣднѣетъ, нашъ умъ становится близорукимъ, наши изслѣдованія становятся плоскими и пошлыми. Но само собою разумѣется, что на величественномъ строеніи мірозданія это никакъ не отзывается. Ибо міръ остается какъ и прежде — великимъ и таинственнымъ чудомъ, возникшимъ изъ творчества нѣкой разумно-сокровенной Власти, несомымъ нѣкой цѣлесообразно-сокровенной силой, движущимся къ нѣкой отдаленно-сокровенной цѣли. А если кто-нибудь настолько слѣпъ или ограниченъ, что онъ не можетъ принять и созерцать это воображеніемъ, или если кто-нибудь усвоилъ себѣ такую разсудочно-мертвую установку, что онъ не желаетъ постигнуть и признать это, — то ему будетъ очень трудно помочь.

Всю свою жизнь человѣкъ проводитъ на землѣ, окруженный Божіими дарами, таинственными чудесами природы, души и духа. Уже самая жизнь, какъ она проявляется въ самоподдержаніи одно-кѣлочныхъ существъ и какъ она далѣе развивается до самыхъ тонкихъ и сложныхъ душевно-тѣлесныхъ коррелятовъ человѣческаго существа, — есть тайна творческой активности, научно неразложимое и ни къ какому механизму не сводимое обстояніе. Всюду, гдѣ жизнь самоутверждается и развивается, будь то въ пространственномъ движеніи или въ психическомъ проявленіи, — отъ бактеріи или вируса до слона, отъ гриба до лианы, отъ губки и жемчужной раковины до акулы, отъ прелестной бабочки типа Неоптолема до невыносимо уродливой китайской свиньи, — всюду передъ нами таинственное чудо, сокровенно присущее каждому живому существу. На этомъ мы должны научиться созерцать и наблюдать и не живыя существа въ ихъ таинственномъ строеніи и распаденіи, въ ихъ таинственномъ покоѣ и движеніи. Міръ «простъ» только для глупцовъ; но для глупцовъ не существуетъ и вообще никакихъ разумныхъ законовъ.

Вотъ почему въ основаніи всякаго серьезнаго изслѣдованія лежитъ исходное допущеніе, что въ мірѣ нѣтъ ничего «простого», что наука во всѣхъ вещахъ и существахъ имѣетъ передъ собою сверхсложный и всесторонне обусловленный предметъ, сокровенно-глубокій и неисчерпаемый ни чувственнымъ опытомъ, ни разсудкомъ. Наука видитъ себя вездѣ передъ лицомъ тайны. Это исходное допущеніе совсѣмъ не должно внушить изслѣдователю робость, остановить или пресѣчь его работу; оно приѣмлется не для того, чтобы погасить изслѣдовательскую жажду, превративъ ее въ сплошное пассивное удивленіе или изумленіе, или погрузить человѣка въ растерянное слабоуміе. Напротивъ, это допущеніе, какъ живая основа изслѣдованія, должно

открыть челоуѣку его истинное заданіе, а также укрѣпить и повысить его чувство отвѣтственности.

Кто признаѣтъ тайну мірозданія, тотъ въ качествѣ изслѣдователя вѣрно пойметъ предстоящую ему задачу: а именно, онъ научится послѣдовательно различать между самимъ предметомъ и наблюдаемымъ (и описываемымъ) содержаниемъ опыта. А это различіе является основнымъ и опредѣляющимъ во всякомъ изслѣдованіи.

Такъ, челоуѣку не надо наблюдать и объяснять мірозданіе въ его предметномъ обстояніи, въ его цѣлокупномъ и таинственномъ существѣ. Изслѣдователь вынужденъ интенціонально (т. е. силою своего сосредоточеннаго разумѣнія) «вырѣзать» свой, подлежащій изслѣдованію, опытный «участокъ», свое изучаемое и познаваемое содержаніе; ему приходится «аскетически» довольствоваться однимъ «отрывкомъ» или одною «нитью» и сосредоточиваться на такомъ урѣзанномъ, оскудѣвшемъ содержаніи. Согласно этому историкъ, напримѣръ, выдѣляетъ изъ всеединого и величаваго мірового процесса — одну ограниченную эпоху или одинъ единичный «обликъ» этой эпохи (фигуру императора Карла Пятаго, или жизнь Леонардо да Винчи, или эпоху Возрожденія, или русскую Смуту); юристъ изучаетъ кодексъ Юстиніана, или французскую конституцію 1791 года; энтомологъ пишетъ трактатъ о цейлонской бѣлой бабочкѣ типа «*Hestia Jaspia*» или объ одной изъ группъ «прыгающихъ прямокрылыхъ» (саранча); фізіологъ — о функціяхъ тригеминальнаго нерва; экономистъ — о строеніи и формахъ англійскаго кооперативнаго движенія въ XIX вѣкѣ; філологъ — о предлогахъ «*κατά*» и «*περί*» у греческаго оратора Лисія и т. д. То, что изслѣдователь выдѣляетъ и описываетъ, — на самомъ дѣлѣ включено и вращено въ великій процессъ всеединого и таинственнаго мірозданія. Только интенціональное вниманіе изслѣдователя «вырѣзаетъ», «отвѣкаетъ», «изолируетъ» изучаемое содержаніе, причемъ иногда природа милостиво даетъ ему соответствующій образцовый экземпляръ (въ видѣ бабочки, или бѣлаго павлина, или орловскаго рысака), а иногда ему приходится самому изготовлять себѣ необходимый «препаратъ» (въ анатоміи, фізіологіи, гистологіи). Но въ общемъ изслѣдователь всегда имѣетъ дѣло съ содержаніемъ своего опыта, которое онъ долженъ всегда мысленно включать въ цѣльную картину мірозданія, созерцая этотъ великій предметъ и относя къ нему все доселѣ познанное. Поэтому не слѣдуетъ именовать этотъ опытно выдѣленный «отрывокъ» или «обломокъ» — предметомъ: это и не точно и ведетъ къ заблужденіямъ. Необходимо признать, что «опытъ» есть цѣлесообразное средство въ познаніи, но отнюдь не его цѣль, не его послѣднее слово и не высшая инстанція, къ которой взываетъ изслѣдователь. Изслѣдованіе невозможно безъ опыта и помимо опыта. Но наивно и слѣпо думать, что оно заканчивается данными опыта. . .

И вотъ изслѣдованіе слагается совсѣмъ иначе въ зависимости отъ того, созерцаетъ изслѣдователь свое «отрывочное содержа-

ніе въ лучѣ міровой тайны, въ великомъ контекстѣ Предмета, или нѣтъ.

Если изслѣдователь забываетъ великую тайну цѣлокупнаго мірозданія, если онъ принимаетъ свое отрывочное, выдѣленное содержаніе за первоначальную и самодовлѣющую величину, тогда онъ теряетъ таинственную глубину и въ предметѣ, и въ опытномъ содержаніи. Онъ изолируетъ свой «обломокъ» отъ духа Цѣлаго и дѣлаетъ его плоскимъ и мертвымъ. Тогда и чувство ответственности у самого изслѣдователя становится неустойчивымъ и безсильнымъ, а его наблюденіе, несомое короткимъ, отрывочнымъ дыханіемъ, дѣлается разсудочнымъ, легковѣснымъ и плоскимъ. Онъ не стремится къ разрѣшенію великаго заданія, а «крохоборствуетъ»; онъ не созерцаетъ, а подглядываетъ; онъ «парцеллируетъ» мірозданіе и оказывается неспособнымъ участвовать въ величіи міропознанія. Этимъ онъ какъ бы запираетъ ту дверь, которая ведетъ отъ его «опытнаго отрывка» въ глубину самого Предмета; онъ какъ бы обрываетъ нити, связующія его «обломокъ» съ Предметомъ, а его изслѣдовательскую лабораторію съ твореніемъ Господа Бога. Такой изслѣдователь долженъ быть причисленъ къ самодовольнымъ и скороголовымъ «все-объяснителямъ». Можно было бы сказать, что его жажда познанія быстро утоляется первымъ же глоткомъ воды изъ мѣстной лужи. У него «маленькіе глаза» и слабое зрѣніе на подобіе крота. Онъ пытается измѣрить бездну Божьяго творенія сантиметрами. Онъ думаетъ, что мірозданіе столь же скудно и плоско, какъ его собственное «представленіе», и что великій Предметъ кончается тамъ, гдѣ его собственное умственное содержаніе оказывается исчерпаннымъ. Онъ считаетъ каждую свою «гипотезу» за «достаточную», потому что природа не можетъ простираться далѣе и глубже, чѣмъ его субъективныя предположенія. И такъ онъ начинаетъ съ того, что теряетъ тайну мірозданія, и заканчиваетъ мертвой механической картиной міра, которая приводитъ его ко все-опышляющему безбожію.

Совсѣмъ иначе слагается изслѣдованіе у того, кто умѣетъ ощущать божественную тайну міра и преклоняться передъ ней. Такъ вель свои изслѣдованія уже Аристотель, у котораго всякое познаніе начиналось съ «изумленія» и возникало изъ «дивованія». Это изслѣдовательское изумленіе было предвосхищающимъ воспріятіемъ тайны мірозданія и въ то же время живымъ предчувствіемъ Божества. Оно всегда пробуждаетъ въ душѣ ученаго ту своеобразную изслѣдовательскую совѣсть, безъ которой наука просто вырождается или совсѣмъ не удается. Эту изслѣдовательскую совѣсть можно было бы обозначить, какъ волю къ предметности познанія, или какъ повышенное и обостренное чувство ответственности, какъ постоянную готовность проявить величайшую осторожность, приспособленіе и вчувствованіе, чтобы приблизиться къ созерцанію великой и глубокой тайны мірозданія. Если изслѣдователю удастся предвосхитить эту тайну въ «большомъ мірѣ» (въ макрокосмѣ), то онъ сумѣетъ восчувствовать

ее и въ своемъ «маломъ обломкѣ» (въ микрокосмѣ); и тогда его, неизбежное для всякаго изслѣдователя, «упрощеніе» не будетъ имѣть дурного вліянія на его познаніе. Напротивъ, выдѣленный обломокъ міра станетъ для изслѣдователя какъ бы «представителемъ» міровой тайны, Божіимъ іероглифомъ, или какъ бы входной дверью въ познаваемую предметную глущину бытія.

Такъ начинается всякое настоящее изслѣдованіе: съ аскеза — въ ограниченіи и съ волею къ безграничному углубленію. И тогда каждое выдѣленное и упрощенное содержаніе опыта предстаетъ ученому, какъ своего рода «шахта», подлежащая разработкѣ, какъ подземный ключъ, или какъ кладезь, въ который надо спуститься для того, чтобы узрѣть священный центръ міровой тайны. При этомъ каждая найденная нить связывается съ сокровенной, но не потерянной тайной мірозданія; каждый изслѣдуемый «отрывокъ» міровой ткани является какъ бы живою тѣнью Бога или отблескомъ Его свѣта; а самая наука, — позитивная, эмпирическая, доказывающая наука, — оказывается своего рода введеніемъ въ созерцаніе Божественнаго Существа.

Именно такъ понимали это великіе основатели и подвижники современнаго естествознанія; именно это было не понято и упущено малыми умами и духовно-подслѣповатыми наблюдателями. Но въ будущемъ это возродится и оживетъ. Тогда наука опять превратится изъ мертваго гербаріума въ живой садъ Божій и никакая разсудочная доктрина не отпугнетъ ее отъ преклоненія передъ чудомъ и тайною, сотворенными Господомъ. А изслѣдующее мышленіе вернетъ себѣ свою созерцающую силу и осуществитъ необычайное.

Потерянная тайна мірозданія будетъ опять возвращена человѣку для переживанія и творческаго созерцанія. Но это станетъ возможнымъ только тогда, когда обновится строеніе познавательнаго акта. Тайна никогда не станетъ доступною для простаго чувственнаго наблюденія. Она не будетъ усмотрена и аналитическимъ разсудкомъ съ его экспериментирующимъ и препарирующимъ мышленіемъ. Предметная тайна мірозданія доступна для созерцающаго вчувствованія и можетъ сообщиться наблюденію и анализирующему разсудку только черезъ вчувствованіе. Именно таковъ былъ въ общемъ и цѣломъ актъ великихъ изслѣдователей. Они подходили къ міру съ открытымъ, любящимъ и дивующимся сердцемъ; они наблюдали, созерца и медитируя; они думали, вчувствуясь въ предметъ и преклоняясь передъ его мудрой таинственностью; они съ самаго начала вѣдали о его глубинѣ и до конца радостно удостовѣрялись въ ней. Ихъ сердце трепетало вмѣстѣ съ мірозданіемъ и пребывало въ немъ. И потому міръ жилъ въ нихъ и раскрывалъ передъ ними свои глубины; а они сами были не только изслѣдователями міра, но и мудрецами и любимцами природы.

И вотъ будущее сулитъ намъ возрожденіе такого познанія.

19.

О сердечномъ созерцаніи.

I.

Человѣкъ рожденъ прежде всего — для созерцанія: оно возноситъ его духъ и дѣлаетъ его окрыленнымъ человѣкомъ; если онъ сумѣетъ вѣрно пользоваться этими крыльями, то онъ сможетъ осуществить свое призваніе на землѣ. И вотъ, надо пожелать человѣчеству, чтобы оно уразумѣло свое призваніе и чтобы оно возстановило въ себѣ эту дивную окрыляющую способность созерцанія.

Но это означаетъ, что человѣчество должно приступить къ великому, перестраивающему обновленію души и духа: оно должно пересмотрѣть строеніе своихъ культуро-творящихъ актовъ, признать ихъ исторически сложившуюся несостоятельность, восполнить ихъ, усовершенствовать и открыть себѣ новые пути къ вѣдѣмъ великимъ Бого-даннымъ предметамъ. Это — единственная возможность выйти изъ современнаго кризиса и начать духовное оздоровленіе; это единственный способъ остановить современное скольженіе въ пропасть и начать періодъ возрожденія и подъема. Человѣчество подошло къ пропасти, не замѣчая ея, воображая, что оно творитъ «новую культуру» и осуществляетъ великій прогрессъ «свободы» и «гуманности»; а на самомъ дѣлѣ оно создавало безкрылую, декадентскую псевдо-культуру, подрывающую свободу и отрекающуюся отъ гуманности. Оно не замѣтило главнаго, а именно омертвѣнія своего сердца и своей духовности и обезсилѣнія своего творческаго акта.

Оно пыталось создавать «новую культуру», не примѣняя необходимыхъ для нея внутреннихъ, духовныхъ «органовъ» и предоставляя имъ угасать и отмирать. Оно пользовалось невѣрными, безсильными «орудіями» внутренняго міра и не замѣчало, что истинная культура требуетъ иныхъ силъ и иныхъ органовъ, и забывало, что никакое самовосхваленіе и самодовольство не обеспечиваетъ истиннаго качества.

Эти формулы имѣютъ общее и опредѣляющее значеніе для всей культуры нашихъ дней. И дальнѣйшая исторія, нынѣ закрытая непрогляднымъ туманомъ, зависитъ отъ того, увидитъ ли человѣчество это заблужденіе и когда именно оно увидитъ его: — постигнуть ли его наши дѣти, или дѣти нашихъ дѣтей,

или еще болѣе отдаленные потомки, и, постигнувъ, захотятъ ли они и сумѣютъ ли начать это творческое обновленіе.

На развалинахъ міра, который еще недавно казался «новымъ», а нынѣ сталъ «отжившимъ», мы всѣ — европейцы, азіаты, американцы — должны одуматься, сосредоточиться на нашемъ внутреннемъ душевно-духовномъ укладѣ, произнести надъ собою честный и искренній судъ и распространить это самоосужденіе на всѣ области культурнаго творчества. То, что совершается въ мірѣ за послѣдніе полвѣка, есть крушеніе нашей культуры, которая не справляется съ внутренне — глубокими, а внѣшне — грандіозными задачами нашихъ дней. Крушеніе это выражается, во-первыхъ, въ томъ, что она предоставила въ своихъ собственныхъ нѣдрахъ сложиться, окрѣпнуть и побѣдоносно выступить новому духовному варварству; во-вторыхъ, въ томъ, что она сумѣла противопоставить этому духовному варварству — только формальную цивилизацию, чувственное разложеніе и хозяйственную жадность. Намъ нельзя отвертываться отъ этого печальнаго зрѣлища и замалчивать его; напротивъ, мы обязаны поставить честный діагнозъ, выговорить правду и приступить къ отысканію новыхъ жизненныхъ путей...

... Почему современная философія ушла въ отвлеченную пустоту, въ бесплодную запутанность, въ конструктивныя выдумки и въ мертвый «гносеологизмъ»? Чего не хватало ей? Почему отлетѣлъ отъ нея живой духъ? Почему дедуктивная теологія со всей ея «діалектикой» и религіозной мертвотой расцвѣла именно теперь, одновременно съ воинственно-кошунственнымъ безбожіемъ, къ которому она обнаруживаетъ странную и страшную симпатію? Почему эта теологія несетъ одни педантическія разсужденія, лишеныя свѣта, тепла и живого творчества? Откуда это разложеніе въ современномъ искусствѣ, эта духовная безпредметность, ведущая къ безформенности, эта кошунственная игра безъ души и безъ художественнаго измѣренія? Откуда въ музыкѣ эта безобразная «политональность» и вызывающая «атональность», эта погоня за назойливой и безвкусной «звучностью», это отращиваніе к прекрасному и глубокому? Откуда въ живописи этотъ культъ самодовлѣющей красочности, это презрѣніе къ естественному, эта жажда хаоса? Откуда въ поэзіи это сочетаніе блеклости съ пустозвонствомъ? Откуда въ беллетристикѣ эта погоня за непристойностью? Чего хотятъ люди отъ искусства? Въ какую низину и пошлость соскользнуть еще такъ называемые «художники»? — Откуда этотъ, исторически неслыханный кризисъ государственности, съ его революціонными броженіями и тоталитарными извращеніями? Не свидѣтельствуетъ ли онъ о прямомъ разложеніи современного правосознанія, предавагося релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму? Какъ это могло случиться, что послѣднія естественно-научныя открытія и техническія изобрѣтенія (радіо, воздухоплаваніе, газовѣденіе, расщепленіе атома) были немедленно

использованы для тоталитарного рабства и безчеловѣчнѣйшихъ войнъ исторіи? Почему современное челоѣчество такъ неистово въ разрушеніи (атомная бомба), и такъ убого и неумѣло въ созданіи новой соціальной жизни? Что же, демократіи послѣдняго вѣка такъ долго и такъ успѣшно боролись за свободу, за частную инициативу и за самоуправленіе для того, чтобы р а з н у з д а т ь освобожденныхъ и отдать ихъ въ новое, неслыханное р а б с т в о? Гдѣ же новыя, творческія, соціальныя идеи современности, гдѣ синтезъ свободы и справедливости?...

Можно не продолжать этотъ рядъ обличительныхъ вопросовъ. Наши поколѣнія уже видѣли и на живомъ опытѣ убѣдились, куда ведетъ и приводитъ это разложеніе культуры. Теперь надо рѣшить, какъ остановить этотъ процессъ и гдѣ искать спасенія?

Здѣсь можетъ помочь только критическій пересмотръ и обновленіе структуры нашего, унаслѣдованнаго нами, культуротворческаго акта. Въ строеніи этого акта у насъ не хватаетъ самой глубокой и благородной способности челоѣческаго существа, — с е р д е ч н а г о с о з е р ц а н і я, и всего того, что съ нимъ связано, всѣхъ его духовныхъ силъ, даровъ и проявленій. И вотъ, челоѣчество должно вернуть себѣ эту компоненту: понять ея значеніе и назначеніе, возжелать ея и д о с т р а д а т ь с я д о е я в о з р о ж д е н і я. Мы не представляемъ себѣ этого процесса, какъ произвольнаго рѣшенія и быстрой перемѣны. Это процессъ длительный, органически-духовный, требующій отъ людей творческихъ усилій и ведущій ихъ черезъ страданія. Но въ отдѣльныхъ представителяхъ челоѣчества — онъ можетъ и долженъ начаться теперь же. Надо побороть въ себѣ ложный стыдъ, мѣшающій намъ л ю б и т ь и с о з е р ц а т ь и з ь л ю б в и; надо почувствовать всю оплодотворяющую силу этого акта: надо будить его въ дѣтяхъ и завѣщать новое воспитаніе внукамъ и правнукамъ; надо внести этотъ ожившій даръ во всю челоѣческую культуру, — отъ религіозной вѣры до архитектуры, отъ научной лабораторіи до концертнаго зала, отъ судебного присутствія до земледѣльческаго труда, отъ законодательнаго собранія до народной школы и арміи. Надо довѣрить все свое творчество и всю свою судьбу — этой благодатной, евангельски-христіанской силѣ сердечнаго созерцанія, издревле жившей въ восточномъ Православіи...

II.

Условимся различать въ челоѣкѣ слѣдующія душевныя силы или «способности»: воспріятія, возникающія изъ чувственныхъ ощущеній; мышленіе; инстинктъ; волю; силу воображенія; и жизнь чувства. Изъ этихъ способностей культуротворящій актъ современности покоится—на ч у в с т в е н н ы хъ воспріятіяхъ, признавая ихъ какъ бы «дверью», ведущею къ внѣшнему міру; а надъ ними ставится въ качествѣ критическаго стража, — и н д у к т и в н о е м ы ш л е н і е, по возможности съ механически-инструментальной провѣркой; отсюда воз

никаетъ естествознаніе и техника. То, что добывается этими двумя способностями, передается затѣмъ инстинкту и волѣ; инстинктъ созидаетъ изъ этого хозяйство, а воля — государственный строй. При этомъ приходится неизбежно пользоваться и силой воображенія; совсѣмъ безъ нея нельзя обойтись; но она всегда остается подъ подозрѣніемъ, подъ именемъ «фантазіи» и подвергается строгому контролю мысли и машины. Что же касается чувствъ, то оно вообще устраняется изъ серьезной, научной признанной и дѣловой культуры; ему отводится мѣсто,—въ зависимости отъ личныхъ потребностей,—въ частной жизни. Въ дѣловомъ оборотѣ чувству нечего дѣлать; въ культурномъ творествѣ оно только отвлекаетъ и вноситъ сентиментально-личный элементъ; что же касается частной жизни, то людямъ предоставляется предаваться или не предаваться своимъ чувствамъ по мѣрѣ досуга, склонностей и инстинктивныхъ влеченій: для этого у нихъ есть семья...

Что же даютъ намъ и чего не даютъ основныя, «официальны» признанныя силы современной культуры?

И вотъ, чувственныя ощущенія, взятыя сами по себѣ, оказываются въ духовномъ отношеніи слабыми, и творчески безсильными; они нуждаются въ руководствѣ; имъ необходима высшая, цѣле-сознательная и ведущая инстанція. Если ея нѣтъ, то они начинаютъ служить тѣлу и его похотямъ, бездуховному инстинкту самосохраненія и размноженія во всей его самовластности и безоглядности. Это мы видимъ въ хозяйственной наживѣ и конкуренціи; это обнаруживается и въ современномъ модернистическомъ искусствѣ.

Въ наукѣ власть и контроль принадлежать теоретическому мышленію. Это несомнѣнно приводитъ къ познавательнымъ успѣхамъ. Однако, такой «научный прогрессъ» остается духовно-безразличнымъ и мертвымъ. Ибо, мысль, взятая сама по себѣ, отвлеченна и логически понудительна, но бездуховна и безсердечна. Предоставленная собственной природѣ и инерціи, она является аналитически-отвлекающей силой, все разлагающей, развязывающей и подкапывающей. Еще недавно въ мірѣ цѣствовали мышленіе, какъ величайшую силу доказательства и просвѣщенія, какъ органъ самой истины, какъ «разумъ» (Ratio!); и вотъ оно незаметно опустилось до произвольнаго и плоскаго «конструктивизма» и превратилось въ пошлый, скептическій разсудокъ. И оказалось, что «чистое» (голое) мышленіе—духовно индифферентно и мертво въ дѣлахъ созерцанія и сердца. Оказалось, что оно представляетъ изъ себя величайшую опасность для человѣческаго рода,—органъ лжи и мнимыхъ доказательствъ, орудіе обманной и губительной пропаганды, путь соблазна и разрушенія...

Не стоитъ доказывать, что человѣческій инстинктъ*) есть великая сила, что отъ него можно ждать большой «пользы» и жизненной «службы», но что, взятый самъ по себѣ, онъ

*) См. выше главу о «Духовномъ инстинктѣ».

вести не путями духа, а звѣриными тропами. Поскольку око духа въ инстинктѣ спитъ, или, можетъ быть, угасло совсѣмъ, постольку онъ становится орудіемъ челоѣко-животности,—гибкимъ, цѣпкимъ, изворотливымъ и лукавымъ. Но о д о с т о й н о й жизни, но о д у х о в н о й жизни, о с о ц і а л ь н о й жизни—онъ и не задумывается. Въ біологическомъ отношеніи—человѣчскій инстинктъ есть сила таинственная и изумительная; но въ духовномъ отношеніи онъ можетъ остаться слѣпымъ и безсильнымъ. Свою истинную мощь, полноту своихъ способностей онъ пріобрѣтаетъ только тогда, когда въ немъ просыпается о к о д у х а и когда оно, пробудившись, становится опредѣляющимъ, ведущимъ и облагораживающимъ началомъ жизни. Дѣло не въ томъ, чтобы «духъ» и «инстинктъ» какъ-нибудь примирились въ челоѣкѣ, ужились и «не мѣшали» другъ другу, но въ томъ, чтобы «волкъ» инстинкта радостно предался «ангелу» духа и свободно служилъ ему, встрѣчая съ его стороны бережное и благодатное водительство. Проблема разрѣшена вѣрно, если духовность свѣтитъ изъ инстинкта, а инстинктъ «облекается въ духъ».

Что же касается челоѣческой в о л и, то и она, взятая сама по себѣ, есть сила формальная и духовно-безразличная. Она есть способность выбирать и рѣшать, но вѣрнаго критерія для выбора и предпочтенія она не имѣетъ. Она есть способность «держаться» и «нести бремя», но вѣдѣнія того, во имя чего она несетъ свое бремя, ей не дано. Это есть сила концентрации, лишенная очевидности. Это есть даръ повелѣвать, но безъ вѣры въ правоту и въ духовное достоинство предписаннаго. Въ сущности—великая, но с т р а ш н а я и п у с т а я с и л а. Поскольку дѣло сводится къ «единой линіи» въ жизни и къ ея «ритму» — воля необходима и незамѣнима; но поскольку дѣло идетъ о вѣрномъ выборѣ духовно-истинныхъ цѣлей и жизненныхъ содержаній,—постольку воля безкрыла и безпомощна. Самые отвратительныя, самыя преступныя, самыя бого-противныя организациі челоѣческой исторіи—строились и держались силою воли. Но воля, взятая сама по себѣ, есть сила холодная, жесткая и безлюбовная; она создаетъ безпринципную власть; она ведетъ не къ Богу, а къ діаволу.)

Что же касается в о о б р а ж е н і я, то оно, предоставленное самому себѣ и своему нестѣсненному полету, оказывается пріятной и развлекающей способностью: оно представляетъ себѣ въ образахъ все возможное, что кому угодно. Оно легкоподвижно, капризно и безотвѣтственно; оно угождаетъ инстинктивнымъ желаніямъ челоѣка и жаждетъ удовольствій; оно всегда можетъ «такъ» и еще «иначе» и еще «совсѣмъ иначе»; ему нравится беспочвенность и безпредметность; иногда оно можетъ случайно вознестись въ сферу духа, но и тамъ оно остается духовно-безразличнымъ и не превращается въ творческое созерцаніе.

Есть одна сила, которая имѣетъ призваніе направлять, укоренять и сообщать духовную предметность всѣмъ этимъ способностямъ, — это с е р д ц е, с и л а л ю б в и и притомъ

духовной любви къ дѣйствительно прекраснымъ и драгоценнымъ предметамъ. Дѣло жизненнаго выбора и притомъ вѣрнаго и окончательнаго выбора — есть дѣло духовной любви. Кто ничего не любитъ и ничему на землѣ не служить, тотъ остается пустымъ, бесплоднымъ и духовно-мертвымъ существомъ. У него нѣтъ въ жизни высшаго и властнаго руководства и всѣ силы его остаются какъ бы на распутіи. Но такъ какъ жизнь требуетъ движенія и не терпитъ застоя, то способности его начинаютъ жизнь самовольную и разнузданную. Чувственныя ощущенія становятся у него самодовлѣющими и распущенными; мышленіе развивается механически, холодно и оказывается во всей своей прямолинейной послѣдовательности—враждебнымъ жизни и разрушительнымъ (таково дедуктивное мышленіе у полуобразованныхъ людей! Таковъ все разлагающій анализъ скептиковъ!) Въ жизни человѣка съ пустымъ и мертвымъ сердцемъ господствуетъ жадный до удовольствія инстинктъ. Воля его становится жесткой и циничной; воображеніе — легкомысленнымъ и творчески бесплоднымъ. Ибо въ высшей и послѣдней инстанціи всѣ вопросы человѣческой судьбы рѣшаются любовью. Только любовь можетъ отвѣтить человѣку на важнѣйшіе вопросы его жизни: «чѣмъ стоитъ жить? чему стоитъ служить? съ чѣмъ бороться? что отстаивать? за что идти на смерть?» И всѣ остальные душевныя и тѣлесныя силы человѣка суть въ конечномъ счетѣ не болѣе, чѣмъ вѣрные и способные слуги духовной любви...

Такъ слагаются высшіе духовные органы человѣка. Любовь превращаетъ воображеніе — въ предметное видѣніе, въ сердечное созерцаніе, изъ этого вырастаетъ религіозная вѣра. Любовь наполняетъ мысль живымъ содержаніемъ и даетъ ему силу предметной очевидности. Любовь укореняетъ волю и превращаетъ ее въ могучій органъ совѣсти. Любовь очищаетъ и освящаетъ инстинктъ и отверзаетъ его духовное око. Любовь углубляетъ и облагораживаетъ чувственныя воспріятія, она придаетъ имъ художественный смыслъ и заставляетъ ихъ служить искусству. И во всемъ этомъ нѣтъ никакихъ преувеличеній; все это простыя и основныя истины духовной жизни, въ которыхъ опытный глазъ сразу узнаетъ основныя истины христіанства.

III.

Согласно этому сердечное созерцаніе надо понимать такъ.

Когда человѣческая любовь избираетъ себѣ такое жизненное созерцаніе, которымъ дѣйствительно стоить жить, и за которое стоить и умереть, — то она становится духовной любовью. Если же духовная любовь овладѣваетъ человѣческимъ воображеніемъ, наполняетъ его своею силою и своимъ свѣтомъ, и указываетъ ему достойный предметъ, то человѣкъ

отдается сердечному созерцанію: въ немъ образуется новый, чудесный органъ духа, органъ творчества, познания и жизни, который возносить и окрыляетъ его. Этотъ органъ требуетъ вниманія, упражненія и привычки; онъ открываетъ передъ человѣкомъ новыя возможности и новые пути культуры.

Тогда человѣкъ обращается къ міру съ тѣмъ, чтобы предметно вчувствоваться въ него и сочетаетъ такимъ образомъ весь объективизмъ предметной культуры со всею силою лично субъективнаго самовложенія. Отъ этого его творческій актъ получаетъ новое направленіе и новую силу. А если къ этому присоединяется художественное дарованіе, то онъ приобретаетъ способность особой мощи. Его воспріятіе можетъ дойти до художественнаго отождествленія съ сущностью вещей и человѣка, и тогда оно начинаетъ открывать ему гораздо болѣе того, чѣмъ обычно считается возможнымъ. Систематическое укрѣпленіе и осуществленіе такого акта художественнаго отождествленія можетъ дать настоящія чудеса въ смыслѣ точнаго постиженія: у человѣка можетъ развиться даръ своеобразнаго ясновидѣнія. Этотъ даръ можетъ стать для него сущимъ бременемъ и мукой, ибо въ мірѣ столько зла, злыхъ побужденій, отвратительныхъ преступленій и хаоса, что воспринимающій ихъ въ порядкѣ отождествленія человѣкъ не можетъ не страдать.

И вотъ, созерцающее вчувствованіе можетъ постепенно овладѣть всѣми другими способностями человѣка: инстинктомъ, волею, мыслью и другими силами духа. Тогда личная душа человѣка станетъ какъ бы покорнымъ и лѣпкимъ воскомъ, который будетъ повиноваться каждому предмету и до извѣстной степени превращаться въ то самое, что человѣкъ воспринимаетъ и познаетъ. Отъ этого у гениальныхъ художниковъ накапливается цѣлое богатство жизненныхъ постиженій, сокровище изъ разнообразнѣйшихъ образовъ міра, такъ что со стороны можетъ показаться, что этотъ художникъ обладаетъ какимъ то «всецѣлѣніемъ». Это и есть то самое, что изумляетъ насъ у Пушкина, у Достоевскаго, у Леонардо да Винчи и у Шекспира: кажется, что этому художнику открыто все, что онъ все знаетъ, все видитъ и обладаетъ способностью переживать и изображать «чужое», какъ «свое собственное»; — или еще: кажется, что онъ «всюду побывалъ» и всюду точно и до конца постигъ первозданныя состоянія всѣхъ вещей и глубочайшія связи всѣхъ духовъ между собою; или еще, что духъ его древень, какъ міръ, ясенъ, какъ зеркало, и мудръ нѣкой божественной мудростью . . . , и что именно поэтому онъ всегда творчески юнъ и новъ, оригиналенъ и неисчерпаемъ . . .

Такой актъ можно было бы обозначить, какъ «созерцаніе сердца» или просто какъ «созерцаніе». Именно этой творческой компоненты не хватаетъ современному человѣку и современной культурѣ. Мы должны признать ее драгоценной способностью и добиться ея возрожденія и восстановленія; мы должны до

рожить ею и укрѣплять ее въ себѣ, для того, чтобы очистить, оплодотворить и углубить нашу культуру.

Созерцать значитъ приблизительно то же самое, что «смотреть» или «разсматривать»; но созерцаніе есть духовное смотрѣніе и видѣніе, которое способно очищать, символически углублять и творчески укрѣплять чувственный взглядъ человѣка.

Созерцать значитъ приблизительно то же самое, что «наблюдать»; но созерцаніе есть такое наблюденіе, которое вчувствуется въ самую сущность вещи.

Созерцаніе можно было бы условно охарактеризовать, какъ «воображеніе»; но только созерцать — значитъ взирать интенціоноально; поэтому созерцаніе призвано вживаться въ образы міра или въ объективный составъ cadaго предмета — отъ тѣхъ и сосредоточенно.

Созерцаніе, если угодно, сродни «фантазіи»; но только созерцающая фантазія руководится духовной любовью. Поэтому она не разбрасывается, а сосредоточивается и отдаетъ свою «интенцію», — въ смыслѣ «направленія» и въ смыслѣ «интенсивности» — любимому духовному предмету.

Можно было бы опредѣлить созерцаніе — какъ непосредственное воспріятіе («по-ятіе» или «по-н-ятіе»), но только въ томъ смыслѣ, что оно предается тотальному вживанію въ любое жизненное содержаніе. Это содержаніе, можетъ быть, мыслится, или желается, или воспринимается чувственно, или видится въ мечтѣ, или же рисуется, лѣпится, поется, строится, выговаривается въ словѣ или совершается въ видѣ поступка. Созерцающее вчувствованіе можетъ предаться любому жизненному содержанію, или любому предмету, — воспринять его и культурно-творчески претворить его. При этомъ оно всегда обращено къ реальностѣ, которая избираются и воспринимаются силою духовной любви.

Поэтому сердечное созерцаніе можетъ присоединиться къ любому культурному акту; и каждый культурный актъ, къ которому оно приходитъ, пріобрѣтаетъ особую предметность, проникательную глубину, духовную значительность и творческую силу.

Такъ въ познаніи оно можетъ возвыситься до того «интеллектуальнаго видѣнія», которымъ жилъ Платонъ, въ которомъ Кантъ отказалъ человѣку и которое Гегель положилъ въ основу своей философіи. Въ этикѣ и политикѣ, въ цѣлестномъ и дѣйствіи, — оно можетъ пріобрѣсти волюнтаристическій характеръ и открыть человѣку предвидѣніе событій, практическое созерцаніе вдаль, вширь и вглубь. Въ искусствѣ оно приведетъ человѣка къ символически-художественному видѣнію и сдѣлаетъ его мастеромъ «эстетическаго предмета». Въ сферѣ права и правовѣдѣнія оно пробудитъ въ человѣкѣ живую интуицію правосознанія и сообщитъ ему такое предметное правовое видѣніе, о которомъ современная юриспруденція забыла и думать.

Оно зажжетъ въ ученѣмъ любовь къ его предмету, дастъ ему волю къ вчувствованію, искусство отождествленія и сдѣлаетъ его изслѣдователемъ «самосуди» и знатокомъ человѣческой души. С в я щ е н н и к ъ и духовникъ научатся зрѣть сердца людей, зажигать ихъ Божиимъ лучомъ и вести ихъ къ самостоятельному и предметному религіозному опыту. Все лѣченіе в р а ч а обновится силою индивидуализирующаго вчувствованія. Школьное п р е п о д а в а н і е переродится и дѣти начнутъ переживать по новому уроки геометріи, географіи, исторіи, педагогики и особенно Закона Божія, — излагаемые въ словахъ и образахъ сердечнаго созерцанія. Кто имѣлъ хоть одного учителя, т а к ъ преподававшаго свой предметъ; кто хоть разъ въ жизни встрѣтилъ адвоката, или судью, или податного инспектора, обладавшаго э т и м ъ даромъ; кто имѣлъ дѣло съ ротнымъ или батальоннымъ командиромъ, любившимъ своихъ солдатъ, — тотъ сразу пойметъ эту перспективу и вѣрно оцѣнитъ ее. Что же касается х у д о ж е с т в е н н а г о т в о р ч е с т в а, то его настоящій источникъ живетъ именно въ сердечномъ созерцаніи. Воображающее вчувствование есть именно тотъ подходъ къ міру, который открываетъ человѣку всѣ двери и всѣ богатства вселенной; нѣтъ ничего такого, что могло бы замѣнить художнику лучъ созерцающаго сердца, — ни въ замыслѣ, ни въ вынашиваніи, ни въ формированіи, ни при завершающей отдѣлкѣ.

При этомъ нельзя забывать, что въ человѣческой жизни есть такія реальности, которыя воспринимаются, открываются и обогащаютъ духъ т о л ь к о ч е р е з ъ с е р д е ч н о е с о з е р ц а н і е. Замѣчательно, что это именно тѣ предметы, которые опредѣляютъ смыслъ человѣческой жизни, такъ, что безъ нихъ жизнь человѣка скудѣетъ и мертвѣетъ. Духовно воспринять Б о г а и утвердить свою вѣру въ Него — можно только при помощи сердечнаго созерцанія; оно не можетъ быть замѣнено никакимъ умственнымъ доказательствомъ, никакимъ волевымъ рѣшеніемъ, потому что вѣра возникаетъ отъ в ч у в с т в о в а н і я въ С о в е р ш е н с т в о. Обрѣсти свою з е м н у ю р о д и н у и служить ей вѣрою и правдою — можно только черезъ сердечное созерцаніе: тотъ кто не любитъ свою родину, кто не умѣетъ беречь и творить ее любовнымъ созерцаніемъ, кто не видитъ ея сущности, ея своеобразія, ея развитія, ея живыхъ силъ, ея жизненныхъ потребностей и опасностей, кто не имѣетъ духовнаго основанія вложить въ нее свою волю и отдать за нее свое достоинство и свою жизнь, — тотъ не знаетъ, что такое патріотизмъ. Есть еще и другіе предметы, требующіе именно этого акта. Въ концѣ концовъ сердечное созерцаніе составляетъ подлинную сущность всякаго творческаго отношенія человѣка къ человѣку: безъ него нѣтъ ни истинной д р у ж б ы, ни истиннаго б р а к а и с е м ь и, — но лишь блѣдныя и обманчивыя тѣни живого общенія.

Вотъ почему я сказалъ съ самаго начала: созерцаніе возноситъ человѣческую душу и дѣлаетъ ее окрыленною. Объ этомъ знали всѣ религіозные вожди и всѣ великіе мыслители человѣ-

чества. Объ этомъ знаетъ кое-что и каждый счастливый чело-
вѣкъ. И если наша грядущая культура сулитъ намъ надежду и
утѣшеніе, то лишь при томъ условіи, что возродится и обно-
вится эта великая сила человѣческаго духа.

О благодарности.

Нѣтъ сомнѣнiя — человѣчество найдетъ пути, ведущiе къ обновленiю, углубленiю и окрыленiю своей культуры. Но для этого оно должно научиться б л а г о д а р н о с т и и на ней строить свою духовную жизнь.

Современное намъ человѣчество не цѣнитъ того, что ему дается; не видитъ своего естественнаго и духовнаго богатства; не извлекаетъ изъ своего внутренняго міра того, что въ немъ заложено. Оно цѣнитъ не внутреннюю силу духа, а внѣшнюю власть — техническую и государственную. Оно хочетъ не творить, создавать и совершенствовать, а владѣть, распоряжаться и наслаждаться. И поэтому ему всегда мало и всего мало: оно вѣчно считаетъ свои «убытки» и ропщетъ. Оно одержимо ж а д н о с т ь ю и з а в и с т ь ю и о благодарности не знаетъ ничего.

И вотъ, каждый изъ насъ долженъ прежде всего научиться с я благодарности.

Стоитъ намъ только раскрыть наше духовное око и при-
смотримъ къ жизни — и мы увидимъ, что каждое мгновение какъ бы испытываетъ насъ, созрѣли ли мы для благодарности и умѣемъ ли мы благодарить. И тотъ кто выдерживаетъ это испытанiе, тотъ оказывается ч е л о в ѣ к о м ъ б у д у щ а г о : онъ призванъ творить новый міръ и его культуру, онъ у же носить ихъ въ себѣ, онъ творческій человѣкъ; а тотъ кто не выдерживаетъ этого испытанiя, тотъ одержимъ духовною слѣпотой и завистью, онъ носитъ въ себѣ разложенiе гибнущей культуры, онъ человѣкъ отживающаго прошлаго. Вотъ критерiй духовности, вотъ законъ и мѣра, о которыхъ мало кто думаетъ, но по которымъ необходимо различать людей.

Какъ только человѣкъ откроетъ свое духовное око и восприметъ окружающую его вселенную, — сквозь эту жестокую кору повседневности и примелькавшейся, привычной, омертвѣвшей пошлости, — такъ онъ откроетъ великое множество даровъ, окружающихъ его отовсюду. Обычно мы принимаемъ эти дары самоувѣренно и равнодушно, какъ нѣчто само собою разумѣющееся, какъ нашъ «экзистенциминимумъ», причитающійся намъ : кажется, что все это разсыпается въ мірѣ «такъ, между прочимъ», «ниоткуда» и никакого особеннаго значенiя не имѣетъ. Мы измѣряемъ эти дары мѣрою нашей личной пользы и ропщемъ, и негодуемъ, если что нибудь насъ не удовлетворяетъ или намъ не подходитъ . . . Мы проходимъ черезъ жизнь, какъ

властные и самодовольные хозяева, которые имѣютъ полное право замѣтить и не обратить вниманіе, принять и отвергнуть, одобрить и пожурить, воспользоваться и забыть. Мы выбираемъ нужное и полезное, мы предпочитаемъ удобное и пріятное, — и оставляемъ прочее безъ вниманія. Какъ неблагодарные наслѣдники, мы совершенно не думаемъ о томъ, Кто оставилъ намъ это жизненное богатство и Кто вложилъ въ каждый самома-лѣйшій даръ слѣды Своего Духа.

Какъ только мы откроемъ наше духовное око, такъ мы увидимъ вездѣ и повсюду цѣлое богатство такихъ даровъ, данныхъ намъ не для жизненнаго использованія или злоупотребленія, а для изученія, истолкованія, изумленія и радованія. Мы разучились дивоваться на эти истинныя чудеса Божіи, мы проходимъ мимо нихъ съ каменнымъ и холоднымъ сердцемъ и если кто-нибудь дивуется на ихъ таинственную божественность, то мы пытаемся разочаровать и «успокоить» его при помощи механически-плоскихъ «объясненій» — и считаемъ это признакомъ нашей «образованности» и «просвѣщенности». Но это и свидѣтельствуетъ о нашей духовной «декадентности» и бесплодности; и еще о нашей завистливости и неблагодарности. Ибо, въ самомъ дѣлѣ, кто, получивъ нѣкій богатый даръ, начинаетъ злоупотреблять имъ въ безсердечіи, тотъ лишень чувства благодарности: онъ отвѣчаетъ на щедрость — черствостью и на благость — пренебреженіемъ и это обличаетъ въ немъ завистника. А зависть дѣлаетъ его слѣпымъ.

Міръ полонъ чудесъ Божіихъ, — вотъ древняя мудрость, которая не увянетъ во вѣки вѣковъ. Никакія научныя изслѣдованія и открытія не отнимутъ у нея ничего; они только возобновятъ и подтвердятъ ее съ новою силою. Такъ было, такъ и будетъ. Никакое наблюденіе не лишитъ богосозданнаго чуда — его глубины и значительности; никакое мышленіе, познаніе и объясненіе не погаситъ его необъясненной таинственности. Мы просыпаемся къ бытію и жизни — и видимъ себя окруженными этими дарами, какъ бы включенными или вращенными въ нихъ: пространство, время, живая матерія, душевныя способности, духовныя силы. Мы живемъ всю жизнь въ этихъ дарахъ, ими, изъ нихъ; мы творимъ въ нихъ новое и можемъ создать изъ нихъ дивное и значительное; мы наслаждаемся ими и тогда, когда злоупотребляемъ ими; а когда мы покидаемъ эту жизнь, то иногда уходимъ съ чувствомъ, что намъ было дано безконечное богатство и что мы сдѣлали изъ него слишкомъ мало.

Какой драгоценный даръ имѣтъ собственное, лично-особенное, единственное въ своемъ родѣ, покорно-непослушное тѣло, всю жизнь прислушиваться къ нему, чтобы овладѣть его таинственными законами и подчинить ихъ законамъ духа! Какое драгоценное право — превратить его въ вѣрный символъ своей духовности, и, наконецъ, когда оно впадаетъ въ изнеможеніе, покинуть его для лучшей, болѣе свободной и духовной жизни!

А этотъ изумительный даръ Божій, именуемый пространствомъ, съ его свѣтомъ и тѣнью, съ его прерывно-не-

прерывнымъ наполненіемъ, съ его безконечными звѣздными даями, съ его богатствомъ формъ и красокъ, со всѣми радостями движенія и относительнаго покоя, съ творческими перспективами въ искусствѣ! Сколько созерцанія, сколько тайнъ, сколько мудрости!

А дивный даръ времени—съ неизслѣдимымъ началомъ и невѣдомымъ концомъ... Всего одинъ, кратчайшій, свѣтлый мигъ длительности, скользящій изъ будущаго въ прошлое, пожизненно непреходящій, раскрывающій намъ сразу двѣ перспективы — утрачиваемаго богатства въ прошедшемъ и обѣтованнаго богатства въ будущемъ... Великое русло мгновений, которое мы можемъ заполнить творческимъ трудомъ, любовью, богосозерцаніемъ, молитвой и красотой, и по которому мы въ дѣйствительности то проносимся въ страстяхъ и злодѣяніяхъ, то влачимся въ пошлыхъ развлеченіяхъ...

А это неисчерпаемое богатство природы — въ ея органическомъ единствѣ, въ ея сокровенной закономерности, въ ея покоѣ и въ ея буряхъ, въ ея благодной готовности служить человѣку, показывать ему свою красоту, открывать ему свою разумность и тихо принять его покинутые останки...

Каждый даръ дивенъ и драгоцененъ, каждый указываетъ человѣку его задачи и его никогда не заполнимыя перспективы. Каждый говоритъ намъ о сокровенной благодти, мудрости и любви къ человѣку; каждый зоветъ его къ истинному счастью.

Да, это — счастье: властвовать надъ своимъ тѣломъ и надъ своею душою, строить и крѣпить свой характеръ, копить духовныя богатства, совершенствовать свои духовные акты. Это счастье—творчески работать, создавать въ мірѣ новую красоту, отдавать свое вдохновеніе и свои усилія на созданіе Божіей ткани въ мірозданіи. Это счастье—вести общеніе съ людьми, вчувствуясь въ ихъ жизнь и постигая ея смыслъ; отдавать имъ свое лучшее и принимать ихъ дары; прощать имъ и получать отъ нихъ прощеніе; имѣть отца и мать, и самому дѣлаться отцомъ или матерью; имѣть вѣрныхъ друзей; отстаивать свою родину и служить своему народу. Это счастье — любить и быть любимымъ; это чудо — обмѣниваться взглядомъ любви и выражать любимой женщинѣ полноту своего чувства—цѣлостно и нѣжно. Это счастье воспринимать вѣяніе духа и одухотворять свою душу и жизнь. Это счастье — переживать молитву, изслѣдовательскую очевидность, совѣстный актъ, художественное созерцаніе, истинную политическую свободу и служить водворенію справедливости на землѣ.

Но высшее счастье состоитъ въ томъ, чтобы находить въ собственномъ сердцѣ Божій лучъ, слѣдовать ему въ молитвѣ и въ дѣлахъ, постигать его во всемъ и повсюду, и открывать другимъ людямъ доступъ къ нему.

И вотъ, когда наше духовное око отверзается, видитъ эти дары во всей ихъ драгоценности и неисчерпаемости, и когда сердце наше ощущаетъ скрытую за ними благодть и любовь,—то приходитъ часъ нашего отвѣта на все узрѣнное и полученное. И если мы не отвѣчаемъ молитвою благодаренія, то мы

оказываемся недостойными этих даровъ. Но при этомъ мы уже не можемъ оправдываться нашей прежней слѣпотой. Если наше сердце не отозвалось,—не вострепетало и не загорѣлось, если оно не преисполнилось благодарности, то это означаетъ, что оно ожесточилось въ черствой зависти.

Что такое благодарность? Это отвѣтъ живого, любящаго сердца на оказанное ему благодѣяніе. Оно отвѣчаетъ любовью на любовь, радостью на доброту, излученіемъ на свѣтъ и тепло, вѣрнымъ служеніемъ на дарованную благодать. Благодарность не нуждается въ словесныхъ изъявленіяхъ и иногда бываетъ лучше, чтобы человѣкъ переживалъ и проявлялъ ее безсловесно. Благодарность не есть и простое признаніе чужого благодѣянія; ибо озлобленное сердце сопровождаетъ такое признаніе чувствомъ обиды, униженія или даже жаждою мести. Нѣтъ, настоящая благодарность есть радость и любовь, и въ дальнѣйшемъ — потребность отвѣтить добромъ на добро. Эта радость вспыхиваетъ сама, свободно, невынужденно и ведетъ за собою любовь — свободную, искреннюю. Человѣкъ пріемлетъ даръ — и радуется, не только полученному дару, но и добротѣ дарящаго, Его любви и Его бытію, и наконецъ тому, что эта доброта пробуждаетъ любовь въ душѣ самого одареннаго. Даръ есть зовъ, вызывающій къ доброму отвѣту. Даръ есть лучъ, требующій отвѣтнаго излученія. Онъ обращается сразу — и къ сердцу, и къ волѣ. Воля принимаетъ рѣшенія; она желаетъ отвѣтить и начинаетъ дѣйствовать; и это дѣйствіе обновляетъ жизнь любовью и добротою.

Когда человѣкъ видитъ передъ собою неисчерпаемые дары Божіи, то въ немъ очень скоро возникаетъ чувство, что онъ никогда не сможетъ отвѣтить сполна на эту неисчерпаемую благодать. Чѣмъ дольше, чѣмъ постояннѣе онъ погружается въ созерцаніе этихъ даровъ, тѣмъ увѣреннѣе онъ читаетъ повсюду символическія письма Всевышняго и тѣмъ сильнѣе становится въ немъ чувство, что онъ никогда не сумѣетъ ни прочесть ихъ до конца, ни воздать Господу достойную благодарность и хвалу. Сколько гениальныхъ естествоиспытателей носили въ себѣ это чувство въ теченіе всей жизни и всѣ они знали о томъ, что «достаточнаго» отвѣта они не имѣютъ!... *)

И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ мы можемъ отвѣтить великому Подателю этихъ даровъ? Какая благодарность соотвѣтствовала бы Его благодати?... Поэтому правы тѣ, кто, проведя свою жизнь въ созерцаніи и благодареніи, завершаютъ ее молитвою: «прости мнѣ Господи, что я не сумѣлъ достойно возблагодарить Тебя за дары Твои, что не хватило у меня любви и радости для того, чтобы любить Тебя превыше всего и радоваться на Твои созданія»...

Такъ отверстое око духа воспринимаетъ дары Творца; такъ истинная благодарность поставляетъ насъ въ лучъ Божій и возъ

*) См. книжечку профессора Деннерта: «Die Religion der Naturforscher». Leipzig. 1925. Я привожу выдержки изъ нея въ моей книгѣ «Путь духовнаго обновленія, а также въ «Аксиомахъ религіознаго опыта».

водитъ насъ къ созерцанію Его. Каждый мигъ жизни испытываетъ человѣческое сердце, способно ли оно къ благодаренію, созрѣло ли оно для благодарности, — ибо каждый мигъ несетъ ему дары, изъ коихъ благостно излучается верховная мудрость и любовь. Поэтому глубочайшій смыслъ благодарности состоитъ въ томъ, что она открываетъ человѣку доступъ къ Богу: ибо она есть ничто иное, какъ воспламененіе личнаго огня, отвѣчающаго на зовъ вѣчнаго отеческаго пламени изъ средоточія вселенной.

Такъ религіозная благодарность очищаетъ душу отъ зависти и ненависти. И будущее человѣчества принадлежитъ именно благодарнымъ сердцамъ.

21.

Что такое религіозность. ИЗЪ ЧАСТНАГО ПИСЬМА.

Дорогой другъ !

Отвѣтитъ на вопросъ, который ты мнѣ ставишь съ такой неумолимой строгостью, совсѣмъ не такъ легко и просто. Вѣдь это одинъ изъ самыхъ тонкихъ и глубокихъ вопросовъ, касающихся человѣческаго существа. Здѣсь дѣло идетъ о самой интимной сферѣ внутренняго міра, гдѣ многое оказывается столь «воздушнымъ» и неуловимымъ, безмолвнымъ и избѣгающимъ словъ, гдѣ самое ароматное оказывается невыразимымъ и неописуемымъ, такъ что иногда кажется совершенно невозможнымъ приблизиться къ изслѣдуемому предмету, не говоря уже о его логическихъ опредѣленіяхъ и объ ихъ исчерпывающей точности. Далѣе, между вѣрою и невѣріемъ, между религіозностью и безрелигіозностью есть множество своеобразныхъ промежуточныхъ состояній, при которыхъ человѣкъ остается колеблющимся, нерѣшительнымъ, неувѣреннымъ, сомнѣвающимся и неустойчивымъ, причемъ изъ этихъ состояній есть пути, возводящіе къ подлинной вѣрѣ и другіе пути, низводящіе къ слѣпому ожесточенію. Иногда подъ корою теоретическаго невѣрія живетъ въ тайнѣ настоящая и глубокая религіозность; и наоборотъ, нерѣдко, ярко-выраженная церковная набожность скрываетъ за собою совершенно недуховную душу съ ея совершенно сухими и безсердечными психическими механизмами, извѣстными въ наукѣ подъ именемъ «навязчивыхъ» или «паническихъ»... Посмотри: въ мірѣ есть множество вѣроисповѣдно-причисленныхъ, но невѣрующихъ людей, — «христіанъ», совершенно не вѣрующихъ въ Бога, и не способныхъ сказать своимъ дѣтямъ что-нибудь вѣрное о Христѣ. И кто знаетъ, проснется ли въ этихъ людяхъ и когда — живое религіозное чувство...

Поэтому нельзя требовать въ этой области скорогоготовыхъ и притязательныхъ логическихъ опредѣленій! И если кто-нибудь предлагаетъ такое опредѣленіе, то мы имѣемъ полное основаніе отнестись къ нему съ недоувѣріемъ.

Но я попытаюсь дать тебѣ нѣсколько существенныхъ, изслѣдовательски-нащупывающихъ указаній, по которымъ можно бываетъ узнать религіознаго человѣка.

Самое важное состоитъ въ томъ, что религіозность не есть нѣчто частичное, но цѣ л о с т н о е. Она имѣетъ удивительную способность — внутренне объединять человѣка, придавать ему

духовную цѣльность или «тотальность». Эта цѣлокупность инстинкта, души и духа, разрозненныхъ влеченій и главнаго, основнаго жизненнаго потока — достигается различно въ разныхъ религіяхъ. Но она всюду имѣется налицо, гдѣ религія сохраняетъ свое духовное достоинство. Религіозный человѣкъ подобенъ «монументу». И строго говоря, человѣкъ только тогда слѣдуетъ называть религіознымъ, если и поскольку ему удастся стать духовнымъ единствомъ. Бываетъ такъ, что человѣкъ становится такимъ единымъ духомъ, только въ труднѣйшіе часы своей жизни; но тогда именно въ эти часы онъ и оказывается подлинно религіознымъ. Но дѣло можетъ сложиться и такъ, что человѣкъ только въ послѣдніе часы своей пошлой или даже преступной жизни вознесется къ внутренней, душевно-духовной тотальности, подобно тѣмъ, «дѣто-покупателямъ», о которыхъ повѣствуетъ Викторъ Гюго («L'homme qui rit»): въ открытомъ океанѣ ихъ настигаетъ буря, они терпятъ кораблекрушеніе, въ первый разъ въ жизни произносятъ молитву Господню и тонуть, стоя на колѣняхъ. Если человѣкъ духовно слабъ, расколотъ или растерянъ, то это означаетъ, что его религіозность только еще возникаетъ, или, наоборотъ, разлагается и гибнетъ. Тогда онъ не можетъ молиться; а тотъ, кто въ такомъ состояніи пытался молиться, тотъ знаетъ хорошо, что это была попытка собраться воедино, духовно сосредоточиться и вознестись къ цѣльности, стать хотя бы на мигъ духовно-тотальнымъ существомъ...

Поэтому можно было бы сказать: религіозенъ тотъ, кто способенъ молиться. Но молиться не означаетъ становиться въ молитвенную позу и произносить опредѣленные слова. Молитва совсѣмъ не означаетъ и просьбу. Есть молитва безсловеснаго созерцанія, молчаливой благодарности, самоутраты въ небесной благодати. Можно молиться въ формѣ вопрошанія; можно молиться волевымъ рѣшеніемъ;—взывая о помощи;—внимая новой, благодатно-молящейся музыкѣ;—простыми поступками;—неутомимымъ изслѣдованіемъ. И такое молитвенное свершеніе всегда сохраняетъ свой религіозный характеръ: это есть подъемъ человѣческаго огня къ Божьему Огнилищу и озареніе человѣческихъ сумерекъ божественнымъ Свѣтомъ.

Сущность религіи состоитъ вообще въ томъ, что человѣку дается и человѣкомъ овладѣваетъ Откровеніе. Есть высшее озареніе, окончательное и истинное узрѣніе, — о ч е в и д н о с т ь. Но это не то «озареніе», которое касается одного взора, еле затрагиваетъ холодный взглядъ и бесплодно соскальзываетъ съ него. Откровеніе не дается любопытному глазу воображенія; оно не касается мертвой поверхности душевной, но вступаетъ глубоко во внутренней міръ, чтобы захватить сокровеннѣйшее чувствилище. Оно подобно не касательной линіи, а сѣкущей. Оно проникаетъ до самой глубины сердца, до источника воли и освѣщаетъ подобно молніи сумрачныя пространства инстинкта. Его лучъ пронизываетъ душу до ея инстинктивной духовности. Подобно яркому лучу оно пробуждаетъ око инстинктивно-сокрытаго духа, чтобы осчастливить его и возсіять обратно изъ его глубины. Въ качествѣ пламени

оно зажигаетъ огонь воли и воля начинаетъ желать духовной жизни, съ тѣмъ, чтобы отъ его укрѣпленія и благодатствованія эта воля вступила бы въ единеніе съ Божіимъ пламенемъ. Это и есть то самое, что Макарій Египетскій, этотъ живой пламеникъ Божій, называлъ «срастаніемъ» (*ἁρμόσις*, кон-кретность). И религіозность есть жизнь изъ этой, свободно и искренно принятой, таинственной и блаженной сращенности.

Образно говоря, это можно было бы описать такъ. Съ неба падаетъ молнія — и дубъ загорается мощнымъ огнемъ; чѣмъ выше дерево, тѣмъ ближе къ нему молнія, тѣмъ дальше свѣтитъ охватившее его пламя. Или еще: молнія падаетъ въ заснувшій вулканъ и вулканъ отвѣчаетъ изверженіемъ, которому теперь не будетъ конца. Послѣ воспріятія откровенія начинается новая жизнь; и эта новая жизнь есть религіозная жизнь. Пронизанный лучомъ Благодати, человѣкъ становится единымъ и цѣльнымъ. И молитва есть не что иное какъ стремленіе къ этой встрѣчѣ, или — отверзаніе духовнаго ока навстрѣчу лучу, или — зовъ, направленный къ божественному пламени.

Поэтому религіозность не есть какая то человѣческая «точка зрѣнія», или «міросозерцаніе», или «догматически-послушное мышленіе и познаніе». Нѣтъ, религіозность есть жизнь, цѣлостная жизнь и притомъ творческая жизнь. Она есть новая реальность, состоявшаяся въ человѣческомъ мірѣ для того, чтобы творчески вложиться въ остальной міръ. Она есть соприкосновеніе міра съ Богомъ и притомъ въ этой новой, лично - человѣческой точкѣ. И болѣе того: она есть новое вступленіе Божіей «энергіи» въ человѣческій міръ, новое «облеченіе» божественнаго Свѣта, божественной Благости и Силы въ новое человѣческое сердце. Въ общемъ—Событіе міровой исторіи, въ процессъ возникновенія и укрѣпленія Царства Божія.

Люди, подходящіе къ этому событію извнѣ, знаютъ мало объ этой реальности и говорятъ объ измѣненіи «субъективной точки зрѣнія», о «личномъ обращеніи» даннаго человѣка. Но обновленный человѣкъ переживаетъ нѣчто иное. Онъ ощущаетъ въ себѣ новую реальность, владѣющую имъ, объединяющую его личность и включающую его по новому въ новый міръ. Онъ чувствуетъ въ себѣ, подобно Ильѣ Муромцу, новую силу, которая представляется ему безпредѣльною. Эта сила есть до извѣстной степени «онъ самъ», — отсюда его повышенная отвѣтственность; и въ то же время она гораздо больше и могущественнѣе его, — отсюда его искреннее смиреніе. И дѣйствительно, въ немъ живетъ новая Сила и Власть, которая дѣлаетъ его гораздо болѣе сильнымъ, чѣмъ онъ былъ самъ по себѣ, и чѣмъ онъ смѣлъ когда-нибудь надѣяться. И теперь его величайшая забота состоитъ въ томъ, чтобы оказаться достойнымъ этой Силы и Власти и соблюсти себя въ надлежащей чистотѣ...

То внутреннее возсоединеніе, которое онъ переживаетъ, состоитъ въ томъ, что въ его собственныхъ предѣлахъ возникаетъ новый, властный центръ. Этотъ центръ свѣтитъ ему въ его внутренней жизни, то какъ тихое сіяніе раскаленного уга

ля, то какъ побѣдное и радостное пламя. Это свѣтоносное сіяніе подобно молитвѣ, которая, разъ начавшись, не прекращается болѣе. Религіозный человѣкъ можетъ исполнять свои жизненные дѣла, можетъ, повидимому, предаваться до поглощенія своимъ изслѣдованіямъ, воспріятіямъ и увлеченіямъ, и не думать о своемъ свѣтоносномъ источникѣ, — но свѣтъ не исчезаетъ, онъ остается и длится, онъ сіяетъ, свѣтитъ и ведетъ. Иногда кажется, что онъ только даруетъ свѣтъ, но непрерывно, тихо благостно и властно. Но иногда кажется, что онъ зоветъ, — то шопотомъ, то «знаменуя» и предупреждая, какъ у Сократа; то требуя и вовлекая въ рѣшенія и дѣянія, какъ у христіанскихъ праведниковъ; то въ видѣ побѣждающей любви, какъ у Исаака Сиріянина и у Серафима Саровскаго; то разверзая внутреннее око и даруя созерцательную очевидность, какъ у великихъ философовъ и естествоиспытателей. А когда человѣкъ возвращается изъ своихъ мірскихъ предпріятій и земныхъ вовлеченій къ себѣ, въ свою лично-духовную глубину, то онъ убѣждается, что его пребываніе «внѣ центра», въ земномъ лѣсу, куда онъ уходилъ отъ своего храма, не разлучало его съ его священнымъ центромъ и что огонь его божественнаго алтаря не угасалъ. Это испытывается, какъ великая радость и ободреніе. Возвращеніе въ уже сложившійся и устойчивый центръ придаетъ его пламени очистительную силу; и каждый разъ, какъ это возобновляется, духовная центрированность человѣка становится все болѣе мощной и опредѣляющей. Такъ человѣкъ получаетъ возможность постоянно осязатъ въ своей душевно-духовной глубинѣ нѣкую непрекращающуюся сокровенную молитву, — безсловесную, тихо-сіяющую на подобіе лампы, — и не выходитъ изъ центрального луча даже и въ такихъ жизненныхъ положеніяхъ, которыя являются повидимому «безразличными» или «периферическими»...

Такъ слагается характеръ религіознаго человѣка. Постепенно его духовный центръ, — гдѣ онъ обрѣтаетъ въ себѣ Божию Энергію или гдѣ онъ «утрачиваетъ» себя въ Его лучахъ, — становится въ немъ вездѣ сущимъ. Это совсѣмъ не выражается въ томъ, что онъ то и дѣло принимаетъ благочестивый видъ, надобѣдаетъ всѣмъ окружающимъ своимъ пустосвятствомъ, держится чопорно и елейно или ведетъ постоянно богословскія и моральныя бесѣды. Нѣтъ, его центрированность остается интимной и личной, и притомъ совершенно-подлинной въ своей интимности, и совершенно тихой, непоказной при всей ея подлинности. Но все въ немъ свѣтится и сіяетъ. Свѣтъ изливается во всѣ его душевныя состоянія, планы, труды и предпріятія. Свѣтятся его глаза, лучится его взглядъ. Свѣтла его улыбка. Поютъ звуки его голоса; гармонически естественна его походка. Онъ самъ становится ясною и прозрачною «средой» для своего центра, послушнымъ и вѣрнымъ «органомъ» своего излучающаго сердца. И вся атмосфера его души уподобляется утреннему воздуху, промытому ночнымъ ливнемъ съ бурей. Про такихъ людей хочется иногда сказать: «онъ чистъ, какъ стеклышко Божіе»...

Или, иными словами: духовный центръ такого челоѣка непрерывно посылаетъ свои «волны» и «лучи». Эти лучи освѣщаютъ его внутреннее пространство въ его одиночествѣ; они свѣтятъ вовнѣ, исходя изъ его дѣла; они проникаютъ изъ него во внѣшній міръ. А міръ долженъ быть счастливъ и гордъ, имѣя въ своемъ составѣ такого свободно-искренняго и духовно-прозрачнаго челоѣка.

Вотъ почему религіозный челоѣкъ не склоненъ ко лжи. О т в р а щ е н і е къ неискренности есть дивный и вѣрный знакъ религіозности. При наличности серьезныхъ духовныхъ побужденій, такой челоѣкъ можетъ, конечно заставить себя умолчать объ извѣстныхъ событіяхъ и скрыть извѣстныя состоянія души. Жизнь сложна и многообразна; и голая правда не всегда въ жизни духовно уместна и благотворна. Но религіозный челоѣкъ никогда не лжетъ передъ лицомъ своего Центра, никогда и ни въ чемъ, такъ же какъ онъ не лжетъ о своемъ Центрѣ и изъ него. Онъ не можетъ выговорить ложь или совершить предательство передъ лицомъ Божіимъ, уже въ силу одного того, что онъ не выходитъ изъ своего центральнаго луча и самъ служить ему вѣрною и прозрачною средою. Но именно поэтому каждый беззащитный лжець нерелигіозенъ и отчужденъ отъ Бога; и церковь, разрѣшающая и практикующая ложь, утрачиваетъ свой священный смыслъ и становится орудіемъ противобожественной силы.

Все это можно было бы выразить такъ. Религіознаго челоѣка нетрудно узнать по тѣмъ лучамъ свѣта, которые исходятъ изъ него въ міръ, Одинъ свѣтитъ добротою; другой — своимъ художественнымъ искусствомъ; третій — своей очевидностью, или умиряющимъ покоемъ, или дивнымъ пѣніемъ, или простыми, но благородными дѣяніями. Именно это разумѣетъ Евангеліе: «по плодамъ ихъ узнаете ихъ» (Мтѣ. 7, 16). Этотъ свѣтъ живой религіозности трудно скрыть или не замѣтить, потому что онъ проникаетъ сквозъ всѣ дѣла и «свѣтитъ міру» (Мтѣ. 5, 14); и только совсѣмъ ожесточенные и сердечно-слѣпыя люди могутъ пройти мимо него, ничего не замѣтивъ. Внутренняя жизнь религіознаго челоѣка должна обнаруживаться и стремиться выйти во внѣшній міръ. Изъ родниковаго ключа естественно и вѣрно пить воду. Весенній воздухъ дается людямъ для того, чтобы они имъ дышали; и свѣтъ Божій долженъ свѣтить людямъ (срв. Мтѣ. 5, 16). А живая религіозность есть духъ Божіей весны, вѣющій въ проснувшемся сердцѣ; — и есть вода изъ Божьяго родника, который таинственно пробился въ облагодатствованной душѣ; — и есть свѣтъ Божій, который призванъ свободно и безпрепятственно излучаться въ міръ.

По этимъ свойствамъ, и склонностямъ, и проявленіямъ узнается религіозный челоѣкъ. Въ немъ есть дуновение духа; въ немъ есть пѣніе души; изъ него излучается свѣтъ. И всегда онъ больше, чѣмъ онъ самъ; и всегда онъ внутренне богатъ, настолько, что онъ самъ далеко не всегда знаетъ мѣру своего богатства. Ибо то, что онъ въ себѣ носитъ и что онъ излучаетъ, есть Царство Божіе, котораго онъ является тайнымъ участникомъ.

ПОСЛѢСЛОВІЕ. О духовномъ излученіи.

Мы, люди современной эпохи, не должны и не смѣемъ предаваться иллюзіямъ: кризисъ, переживаемый нами, не есть только политическій или хозяйственный кризисъ; сущность его имѣетъ духовную природу, корни его заложены въ самой глубинѣ нашего бытія; онъ ставитъ насъ передъ послѣдними вопросами и ведетъ насъ въ священную область. Мы не имѣемъ ни права, ни основанія изображать наше крушеніе, какъ «невинную» или «неопасную» случайность. Мы должны найти въ себѣ мужество и остроту взгляда, чтобы увидѣть вещи такими, каковы онѣ суть на самомъ дѣлѣ; мы должны найти въ себѣ волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Намъ надо освободиться отъ мелочей повседневности и приучиться смотреть вдаль: куда идетъ, куда соскальзываетъ современный міръ? что ожидаетъ насъ? что намъ дѣлать для того, чтобы предотвратить злѣйшія возможности и создать новую, прекрасную жизнь?...

Но есть законъ, въ силу котораго грядущая даль открывается только тому, кто смотритъ изъ глубины. Поэтому намъ необходимо подлинное углубленіе духа; мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти въ живую глубину нашего собственного существа, въ «субстанцію» нашей человѣчности, или, какъ сказалъ бы Аристотель, въ «энтелехію» нашего духа, въ ту священную сферу, благодатность и божественность которой возвѣстилъ намъ Сынъ Божій, Иисусъ Христосъ. Повсюду, во всемъ мірѣ долженъ начаться постепенно духовный пересмотръ нашихъ душевныхъ актовъ и нашихъ предметныхъ содержаній: въ отдѣльных людяхъ, и въ малыхъ кружкахъ, въ религиозныхъ общинахъ, въ философскихъ обществахъ, и въ цѣлыхъ культурныхъ движеніяхъ; — люди будутъ сосредоточиваться на послѣднихъ, священныхъ истокахъ своей жизни; они будутъ созерцать жизнь своего сердца и судить о немъ, — каковымъ оно должно быть, и какимъ оно оказалось въ дѣйствительности, и чего ему недостаетъ... Чѣмъ серьезнѣе, чѣмъ ответственнѣе, чѣмъ глубже, чѣмъ искреннѣе будетъ этотъ пересмотръ, тѣмъ лучше. Ибо бѣдствія нашего времени велики и опасность можно будетъ преодолѣть только тогда, если будетъ захвачена послѣдняя глубина человѣческой души, если человечество опять проложитъ себѣ путь къ Богу. Здѣсь дѣло совсѣмъ не только въ «моральномъ перевооруженіи», въ этихъ скудныхъ и вымученныхъ словахъ, обозначающихъ новую и дешевую моду и обезпечивающихъ въ лучшемъ случаѣ укрѣпленную закулисную дисциплину. Человѣкъ

чество нуждается въ обновленіи духа и облагороженіи инстинкта, въ возвращеніи къ Евангельской вѣрѣ, а не въ «чистыхъ перчаткахъ» общаемыхъ антихристомъ.

Обновленіе, предстоящее намъ, должно составить цѣлую эпоху въ исторіи. Ибо старыя дороги исхожены, и прежнее строеніе акта, творившаго культуру, привело насъ къ ужаснымъ, чудовищнымъ проявленіямъ внутренней жестокости и вѣйшей техники. И близится время, когда мы всѣ будемъ помышлять только о внутреннемъ обновленіи и будемъ искать Божіей помощи и спасенія.

Поэтому наше время есть время поворота. Никогда еще отрицательныя силы человѣческаго существа не выступали съ такимъ дерзновеніемъ, такъ самоувѣренно, съ такимъ самосознаніемъ; никогда еще онѣ не дѣлали такихъ вызывающихъ попытокъ захватить власть надъ міромъ; никогда еще человѣкъ не располагалъ такими техническими возможностями, никогда еще онъ не владѣлъ такими разрушительными средствами... Въ мірѣ намѣчается переломъ; можетъ быть онъ уже совершается. Прежнее равновѣсіе утрачено. И той худшей опасности, которая намъ грозитъ, мы можемъ противостать только при условіи внутренняго обновленія...

И первые признаки начинающагося обновленія мы узнаемъ въ томъ своеобразномъ излученіи, которое будетъ исходить отъ обновленныхъ людей, въ этихъ лучахъ живой доброты, сердечнаго созерцанія, совѣсти и мужественно-спокойной вѣры. Ибо нельзя приходить въ соприкосновеніе съ этими послѣдними сферами человѣчески-божественной глубины, не пробудивъ въ своемъ инстинктѣ живой духовности, не ожививъ въ себѣ христіанскаго сердца со всей его дивной энергіей и прозорливостью. А живое сердце посылаетъ въ міръ свои лучи; и эти исходящіе изъ него лучи не просто человѣческіе, но божественно-духоносныя...

Все чаще слышатся голоса, утверждающіе, что человѣчество можетъ спастись только черезъ «Новое откровеніе»... Какъ если бы данное намъ откровеніе Христа было «исчерпано» или «изжито»; какъ если бы человѣчество уже исходило Его пути—пути богосыновства, благодарности, сердечнаго созерцанія и живой доброты, — и они не привели ни къ чему... Какъ если бы современный кризисъ былъ не нашимъ кризисомъ, а кризисомъ Господа Бога, потому что Онъ открылъ намъ «слишкомъ мало» или «слишкомъ давно» и теперь долженъ поторопиться и восполнить упущенное. А въ дѣйствительности это мы не сумѣли воспринять данное намъ Откровеніе и зажить имъ по настоящему...

Лучи божественнаго Откровенія не были отняты у насъ. Они свѣтятъ намъ и нынѣ, какъ въ началѣ; и мы имѣемъ заданіе — вѣрно воспринять эти лучи и зажить ими. Намъ надо найти религіозный актъ вѣрнаго строенія, который позволитъ намъ совершить это, такъ, чтобы эти лучи не только свѣтили намъ, но излучались черезъ насъ и изъ насъ самихъ, изъ нашего сердечнаго созерцанія, соединяя насъ съ другими людьми

ми, освѣщая намъ близкое и далекое будущее и направляя нашу земную жизнь.

Современный человѣкъ долженъ увидѣть и убѣдиться, что его судьба зависитъ отъ того, что онъ самъ излучаетъ въ міръ и притомъ во всѣхъ сферахъ жизни. Онъ долженъ удостовѣриться въ томъ, что дѣло идетъ о его душевномъ очищеніи, объ оживленіи и творческомъ изживаніи его сердца. Потому что заглухшее и омертвѣвшее сердце безсильно и слѣпо; и когда оно обращается къ жизни, то оно не можетъ вложить въ нее ничего хорошаго.

Человѣческая культура можетъ быть обновлена только живымъ, излучающимъ сердцемъ, ибо только въ немъ зарождаются новыя творческія идеи, только ему дается о ч е в и д н о с т ь.



